Владимир

МАКАНИН

Лауреат премии «Большая книга – 2008»

Удавшийся рассказ о любви

Владимир Маканин

Удавшийся рассказ о любви (сборник)

«Эксмо»

Маканин В. С.

Удавшийся рассказ о любви (сборник) / В. С. Маканин — «Эксмо»,

«Солдат и солдатка»… «Удавшийся рассказ о любви»… Два пронзительных рассказа, написанные Маканиным с разрывом в двадцать лет. Жертвенность женщины, которая дорого платит за любовь, – вот тема, легко перекрывающая два десятилетия. Поистине вечная тема!«Голубое и красное» – это детство и сумасшедшая, огромная любовь к внуку двух его бабушек, крестьянки и бывшей дворянки. Их борьба за его детскую душу, взаимная неприязнь, ревность, почти ненависть. Их тихое прощание с ним.Сделанное нами добро не обязательно возвращается к нам добром и не всегда поддерживается встречно. Владимир Маканин очень тонко прочерчивает событийный ряд. «Безотцовщина» – грустная повесть, смягчающая нам душу.

© Маканин В. С.
© Эксмо

Содержание

Голубое и красное 5
Глава 1 5
Глава 2 10
Глава 3 14
Глава 4 16
Глава 5 20
Глава 6 22
Глава 7 26
Глава 8 28
Глава 9 31
Глава 10 33
Глава 11 37
Солдат и солдатка 40
Глава первая 40
Конец ознакомительного фрагмента. 47

Владимир Маканин
Удавшийся рассказ о любви (сборник)

Голубое и красное

Глава 1

Мать и отец, именно что слившиеся, ничем особенным и рознящим в детстве ему не запомнились; очерчиваясь, они лишь много позже разделились как люди, приобретя в его глазах и судьбу, и свои лица. Но позже было всякое, в детстве же он чуть ли не путал их, хотя, конечно, не путал. Атмосфера безындивидуальности родителей, обыденной неразличимости их была характерна, привычна, и, кажется, родители только и делали, что работали: возможно, там у них и была своя жизнь. Он же был с младшими братьями, потом он был на улице, потом он был в школе – где и с кем угодно, но только он не был с ними, приходящими с работы поздно, наскоро ужинающими и уходящими утром так рано, что он их не видел. К тому же отец и мать не только не спорили на рознящие их темы, на кровные, скажем, они вообще мало спорили, оттого-то бабки, бабушки и были ему удивительны, а в память запали – разностью.

* * *

Как тихий стук швейной машинки в угловой дальней комнате и как крыльцо барака с железными скобами, о которые при входе очищают ботинки, мать и отец не замечались, как не замечались и прочие. Из всех взрослых в бараке выделялась разве что Нина Федоровна, которая, когда удавалось, хватала за ухо и, выкручивая, вела к окну, чтобы в полутемном бараке лучше видеть и лучше оценить мальчишеский испуг. Там только, у окна, она давала волю рукам. Оправдываться было бесполезно, да и попросту не нужно: царило еще и *неразличение* среди всеобщей бытовой безындивидуальности, и временами (задним числом) казалось, что одинаковость лиц и речей входила в маленького Ключарева с неким умыслом. Жесткость поступков, стычки в бараке и сшибки, а затем бурные же примирения – вся эта честная однообразность лиц и дел заполняла пространство именно как воздух, не было и намека на затаенные или на скрытные *отношения*, которые чуть позже так особенно пленяли его в бабушках. (В бараке, казалось, было важным одно-единое отношение: мужчина – женщина.) «Кто-оо-оо?!» Леденящий крик застиг его в комнате, и он, склонившийся над украденным коробком спичек, застыл, – значения не имело, что не он влез рукой в банку (!) с сахаром, так как сейчас послышатся бухающие шаги Нины Федоровны, костлявой и худой работницы, высосанной заводом и четырьмя собственными детьми, и от шагов ее не уйти, а ожидание шагов было хуже самой расправы. «Кто-ооо?!» – висел, натягиваясь на гневе, крик в бараке, и в отсутствие родителей застигнутые мальчишки за перегородками одинаково замирали. После расправы ему становилось куда легче, и чувство облегчения, кстати, тоже было у всех одинаковым. Но отчего же не так в деревне?

Если в деревне был простор, то возле бараков тоже ведь были пустыри, и притом пустыри с огромным размахом и без единого дерева, а на пустырях взлетали птицы, крупные, подчеркивающие в перспективе даль, а за пустырями были в заметном уже отдалении горы, наползающие одна на одну, но не давящие. Да и в самой избе ненамного просторней, чем в бараке: сени загромождены кадками и примитивным верстаком, оставшимся еще от прадеда, не говоря уж

о догнивающих хомутах и старом тряпье, с которым в избах не расстаются. Люди! – вот оно. Его осенило не взрослого, а в детстве и сразу, и если растолковать он пока не мог, то слово найденное уже знал, *люди*, их-то именно и было много, на квадратный метр много, – тут-то и таился почувствованный им феномен одинаковости, который понял он уже, конечно, не в детстве: люди, живущие в бараке, и не могли быть разными или слишком отличающимися при такой густоте на квадратный метр, они бы не выжили, как не выживают деревья и целые подлески. Чтобы выстояли и выжили, деревья надо, даже и необходимо, прореживать, а людей необязательно – почему? – а потому, что с людьми само собой происходит нечто, в силу чего они уплотняются незаметным, невидным образом, и прореживать их не надо: живут. «Кто-ооо?» – кричала Нина Федоровна, и в самом вопросе был, как водится, ответ – кто-то; неважно кто; уже в детстве каждый мог сделать и каждый мог не сделать. Одинаковость – это и было прореживание в людях, это и было платой за тесноту, и, поскольку люди жили и жить могли, можно было наперед быть уверенным, что каждым из живущих плата наверняка внесена, где больше и где меньше – уже личное, уже не суть.

Он не раз слышал, а помнил и посейчас, как человека, откуда-то приехавшего (из деревни ли, из другого ли города: из *другого сорта* тесноты), спрашивали: «Ну как там?» – и улыбались.

Он может поклясться, что люди, жившие в бараке, улыбались, то есть они настолько уж *тут* жили, что не с тоской по разреженности спрашивали, не с завистью или там с колебаниями, нет, – спрашивали они с уверенностью, что там, где бараков нет и где не живут в такой тесноте, – там не жизнь. Там, вне бараков, непременно должны были водиться одинокие выродженцы, которые отстали, не знают половины общепринятых слов и ради общения, возможно, мычат. Он мог бы поклясться, что их всех, живших в бараке (и его тоже – маленького), уже тогда тянуло к еще большему сгущению, к сгустку в городе, к часу пик в метро, к толчее у гастронома, а также к толпе перед футбольным матчем на Кубок, – они уж тогда провидели логическое будущее и без именно такого будущего сами себя не видели, не узнавали, и нужно же было прожить Ключареву целую жизнь, чтобы наконец узнать слово: большой город. Уже с детства незнаемое это слово было чувственно ясно. В том и штука, что весь барак и сам он, малец, вместе с родителями и соседями мог быть втиснут в избу, и там тоже со временем они уместились бы и жили, и там тоже (после того как произошла бы плата за тесноту, цыганская утряска) снисходительно спрашивали бы: «И как это в другом-то месте люди живут?» – с улыбкой спрашивали бы, это точно, а вот двух бабок Ключарева невозможно было бы поместить даже и в пустой огромный их барак – им, двоим, было бы тесно. (Парадокс индивидуальной тесноты или безындивидуальной уплотненности еще долго его занимал, пока он не понял, что суть не дается сравнением.)

* * *

Когда в то лето, в одно из послевоенных, маленького Витю-Андрея отвезли к бабушке Матрене в обычную уральскую деревню, чтобы подкормиться, стоял июнь. Время тут можно назвать точно, время школьных каникул: был синий ласковый, еще не выцветший уральский июнь, отвезли же Витю туда почему-то одного, без братьев, что дало ему странную незанятость и неожиданную возможность одиночества.

Позднее, а впрочем и тогда тоже, он называл это время – *летом, когда он жил у матери матери*, потому что бабка Матрена была именно мать матери, а только потом к ним приехала бабка Наталья.

* * *

Он приехал один, приглядываемый каким-то бородатым дядькой, а бабка Матрена встретила его на станции, усадила в телегу, и они ехали и ехали – в телеге же он заснул, ничего не помнил, а сонного его переместили на лавку, и вот он проснулся в избе, на лавке, укрытый, теплый, и бабка Матрена ахала над ним: «Ах ты мой родной, ах ты мой ненаглядный Витенька!..» Но и под ахи за столом ее сдобнушка сначала ему не показалась: ржаная, жесткая, печенная в печи лепешка. Молока тоже он не пил давно – часом позже он рванулся к пище и ел без разбора, яростно и алчно, вплоть до поноса, но в тот первый час по прибытии попросить молока он постеснялся: был вымуштрован недоеданием.

Узнать, большая ли эта деревня (в двадцать дворов) или же маленькая, он не умел, однако и не узнавая, чувствовал, что деревня мала: было мало детей, не было той скученности пацанов и девчонок, какая обычна для среды городской и даже поселковской. Дворы были отнесены далеко, и соответственно были далеко дети – лишь вдали мелькали их ситцевые рубашонки. И вот в долгом и, казалось, никак не кончающемся одиночестве он мог ходить теперь все расширяющимися кругами: рассматривая и узнавая выпавшую ему географию: тесноты не было – была свобода. Был спуск к речке по огородной тропе. Была полынь в рост человека – стояла серо-белыми островами. Была картошка, и были грядки.

В какое-то, еще более давнее лето он уже был здесь с младшим братом, и они между собой говорили, а если не говорили, то подразумевали, что все это – и бурьян, и острова полыни, и муравьиная куча, – все это «наше», предполагалось: «твое и мое», но теперь по логике это было только «мое», и мальчик, понимая, все же боялся помыслить ясным этим словом – так много было всего, так широк горизонт, так высоки столбы пыли и так крут и прекрасен спуск к речушке.

Пораженному огромностью, обширностью владений, ему приснился в первую же ночь сон – типичный сон первоклассника, в недрах которого он потерял свою пишущую ручку; он ходил по поселку и на всякий случай спрашивал у мальчишек, кто ручку украл, но тут на улице, вынырнувший, появился его детский враг, он же враг и его брата – Дуло, с куском хлеба. Кому-то Дуло давал откусить, кому-то отказывал – наконец протянул ему, маленький Ключарев откусил, но тут же и отпрянул, пораженный запахом: там, в хлебе, был замешен кусок человечьего пальца с ногтем. Мальчик рыдал и бился: «Это… *мой* ноготь! Это *мой* палец!..» – а бабка Матрена его успокаивала; расспросив, бабка сказала, что сон пустой, и только тут он увидел, что он в избе, спит на высокой печке и что бабка влезла на стремянку, возле него и склонилась. Стоя на стремянке, она объяснила, что сон его пустой – она повторяла: пустой, пустой, схватила за руки и считала ему пальцы, видишь, мол, все на месте, ну ладно, сосчитай сам, ты же умеешь, а он вырывал руки и кричал, что все равно там был его палец.

Утром, едва проснувшись, он без промедления хотел есть, хотел яростно и жгуче, давился, глотал и вновь давился, а бабка Матрена причитала: «Ах ты мой родной, ах ты мой ненаглядный!..» – она прятала чугунок с дымящейся картошкой, перехватив же алчный его взгляд, вновь вынимала и, зная, что любит молоко, давала ему горячую картошку теперь уже с холодным молоком, тогда он впервые ел это блюдо, поразившее вкусом.

* * *

Но никого не было. Однажды лишь прогрохотала телега, встала, и хромой мужик напоил лошадь; не выпрягая, он поил из ведра. После бега лошадь подрагивала, опрокинула ведро, и мужик снова набрал ей – он загляделся на плавающего мальца, и лошадь, как бы в обиде, вновь опрокинула мордой ведро, не выпив и трети. И еще раз набрал он ведро, звякнув дужкой;

он не спешил, он помочился в кустах, потом покурил и, проходя мимо, кинул окурок не в речушку, а на землю, где и затоптал, а малец все плавал, стараясь не задевать ногами дно и плыть честно, поскольку был на виду. Мужик сказал, почувствовав, что ждут его одобрения: «Ишь лягушонок!..» – и ушел, телега загрохотала и скрылась.

Деревенские мальчишки, скучившись, тихие и малым числом, все-таки окружили его; дело не шло к драке, хотя драка и могла случиться, – с их стороны был простенький род любопытства и отчасти выяснение, кто есть кто. Они были полуголые, в старых латаных штанишках, подвязанных веревками, а то и просто сильно спадающих и державшихся непонятно на чем, – он же был в чистенькой рубашке и в ладных новых брючках; он уже сбычился, готовый к драке или к иному выяснению личности, однако бабка Матрена была тут как тут. Она увела его, одной рукой дернув на себя и не отпуская, а другой походя, но точно раздавая подзатыльники мальчишкам из окружившей его медлительной деревенской стайки. Они не убегали – это поразило его. Они стояли, лишь чуть отворачиваясь от удара, и рука старухи доставала их без труда. Они как бы ждали: медлительно и с готовностью они ждали результата своего знакомства – некоего нового знания, и вот в виде подзатыльников, которые как-то переводились на их пацаний язык, они это знание получили.

Бабка Матрена, его руки из своей шершавой не выпустившая, повела домой – по пути, увидев кого-то из матерей этих пацанов, бабка Матрена разинула беззубую пасть и стала вдруг громко, крикливо браниться, чего он никак за бабкой Матреной не подозревал: подзатыльники мальчишкам она раздавала почти молча. Кричала бабка Матрена про какую-то корову, потом про забор, потом про церковь в Ново-Покровке, она кричала долго, набирая тон и нерв, – и уже тех, на кого она кричала, стало трое, а подошла и четвертая женщина с полумешком картошки за плечами, – бабка же все кричала, лишь постепенно переходя на больную тему: на них, посмевших окружить маленького Ключарева:

– …И пусть не трогают и обходят его стороной – иначе я им не такую беду сотворю! Пусть кошкам хвосты крутят, уберите от Витеньки своих сопливых! Он им не чета!..

И – вновь про корову и про упавший забор; а когда вернулись в избу, когда маленький Ключарев уже напрочь остыл и с ленцой даже спросил: «Чего, бабка, так ругалась?» – она ответила: «Не твоего ума дело». Снисходя, все же пояснила: Не обращай, мол, внимания, ненаглядный, деревенские бабы, мол, любому случаю рады, чтобы поговорить, – скучна у нас жизнь, работа да снова работа, а работа от слова «раб», – знал ты, ненаглядный, про это?

Но ему не понравилось, даже и царапнуло, что он «не чета» кому-то: не боялся он окруживших его мальчишек, более того, он уже по лицам их вялым видел и знал, что мальчишки городские, каким был он сам, куда злее и жестче, он был именно зол и жёсток в мальчишьих драках с остервенелым визгом и с хватаньем железки ли, кирпича ли, всего, что на земле и что подвернется под руку, а если не подвернется, то и кусался отменно; умело владел он также и *срывом*, то есть побегом, мгновенным, с истошным криком, исчезновением с глаз долой, если окружили и если драка не на равных; он уже умел и успевал почувствовать, умел и успевал не цепенеть, ожидая развязки, а сделать первый удар самому, пусть не точный, но первый, после чего, не раздумывая, полагаться на быстрые ноги и свое счастье. Не все про них зная, однако же чуя, что он опытнее этих деревенских, его окруживших, он не успел ощутить ни опасности, ни даже боевого задора, лишь сбычился на случай и по привычке – а его уже увели. И теперь с отвращением он видел себя чистеньким мальчиком в брючках: защищенному взрослой рукой, ему было стыдно.

– Бабка Матрена, – спросил он, шмыгая и вытирая сопли, – это почему же я им не чета?

– А потому, – сказала она.

Он подумал и спросил вновь:

– Почему?

– Потому что ты – *мой*.

Одиночество замкнулось, и мальчишки деревенские к нему больше не подходили – один раз, правда, кинули издали земляным, рассыпавшимся на лету камнем, но и все. Некоторое еще время его потерзал стыд – стыд чистенького мальчика, которым он не был, а эту рубашечку и брючки мать специально купила для поездки в деревню – для вида. В одиночестве обнаружилась, или, лучше сказать, нашлась, своя красота, но не сразу.

Куча муравьев, высокая муравьиная куча, шла взамен груды консервных банок, что у них за бараком, – там была целая пирамида таких банок, ржавых или свежих, всегда выеденных дотла. Для него гора банок была прежде и раньше, чем гора муравьев, но детское сознание, различая, уже понимало, что гора муравьев в некоем первородном смысле была и есть раньше и первей горы консервных банок, и вот эту-то обратность ему предстояло теперь неторопливо восстановить.

Глава 2

Он слышал – остановилась телега, и, к окну выскочив, увидел бабку Наталью и рядом с ней еще бабулю с какой-то нелепой прической на голове; обе они снимали с телеги чемоданчики, коробочки, совали рубли подвезшему их и, суетясь, отряхиваясь от соломы, что-то спешно и взволнованно говорили. Он уже вылез на крыльцо, щурясь от яркого солнца, и вот бабка Наталья (она сказала той, другой бабуле: «Подожди, Мари»), как крылья раскрывшая руки, с цветасто-голубыми рукавами платья, кинулась на него: «Ты мой золотой, ты мой серебряный!» – она быстро вдруг присела, опустилась разом на корточки и, сделавшись одного с ним роста, чмокнула в левую щеку, потом в правую, а потом – в губы. Он любил, когда бабка Наталья его целовала, от нее пахло сладко и сухо. Она поднялась и теперь стояла, прямая, худая, тогда он не знал слова «стройная», а в руке держала его руку. «Ну вот, ты его видишь, Мари!» – торжественно объявила она той нелепой бабуле, он же, маленький, стоял, чувствуя себя смущенным, оттого что бабуля Мари так пристально его разглядывала.

В той суете он, конечно, ничего не увидел.

* * *

Именно с косынок и началось различение, если не различие. В деревне не было не только церкви, но и сельпо, уж очень была мала, – и то и другое находилось в Ново-Покровке, в пяти-шести километрах. Оттуда и возвращалась утром следующего дня бабка Матрена, накупившая ему и гостьям-бабулям конфет: леденцов и карамели. Он увидел бабку Матрену посреди дороги, когда она, придерживая кульки у груди, разговаривала с деревенскими, и деревенские подсмеивались над ней – чего это, мол, ты вырядилась?.. Приглядевшись, он увидел: и точно, бабка Матрена была в яркой алой косынке, купленной, видно, заодно с конфетами.

В ту минуту он шел без причины.

– …Купила себе косыночку – а что ж? а чем не косынка?

– Да что это ты, Матрена, на старости лет – красную? Смех только!

Бабы смеялись. И бабка Матрена с ними смеялась.

– А у меня ж гостья, – говорила она, – ва-а-аж-ная такая, пава из себя. А цвет этот она, думается мне, не шибко уважает!

Все вновь рассмеялись.

– А ничего, Матрена, что ты как молоденькая будешь?

– Ничё – цвет как цвет, косынка как косынка. Ее раздражать станет, а мне и смешно посмотреть!

– Она ить тоже старуха?

– Ясно.

И еще спросили Матрену:

– А вторая-то кто?

– А та при ней. Тоже вроде родственница. Я с той и вовсе разговаривать не стану. Куклёха!..

Тут он подошел ближе, и бабка Матрена, смутившаяся, запричитала: «Ах, внучек мой, ах, родной, ах, ненаглядный!» – и ворчливо затараторила, повернувшись в сторону собеседниц: «По домам, по домам пора – болтаете невесть что! Косынку нельзя купить, чтобы срамно не болтали». И опять ему: «Не слушай их, внучек, дуры они, я их сто лет знаю, как были дуры, так и сейчас остались!..» – и за руку скоренько повела его по дороге к избе, к дому, где сидели две другие старухи, и одна из них в голубой косынке.

Тогда он впервые заметил меж родными его бабками – меж матерью матери и матерью отца – что-то вроде неприязни; это была не неприязнь, это была своеобразная, уже давняя ненависть, но, даже и услышав про это, он, конечно, не понял бы и не принял тогда столь жесткого слова. В жаре, в зное он бы и вовсе пропустил слова о косынке или о косынках, но тут было еще и совпадение: *одежда* впервые и именно тогда в детском его мозгу становилась понятием. После стычки с деревенскими мальчишками, когда он увидел себя со стороны мальчиком в чистой рубашке и в ладных брючках и мучился этим, возникло еще нечто мученью его в плюс и в дополнение: бабка Наталья привезла ему в подарок костюмчик, вовсе уж ладный и замечательный. Таких он и на взрослых никогда не видел, и с самой первой минуты костюмчик этот, ладный, и замечательный, и неоспоримо красивый, стал ему отвратителен.

Бабка Наталья и ее чудаковатая Мари, обе расположившиеся в дальней комнате избы, вынесли ему этот костюмчик, а они именно как подарок вынесли, вывели, как нечто живое, под руки, после чего, разумеется, велели ему примерить. «Ах, как хорош! Ах, хорош!» – заахали они, и даже бабка Матрена, пришедшая и помывшая руки после огорода, сказала: «Н-да…» – и аж потемнела, так костюмчик был хорош; тогда-то она, ревнивая, и побежала за конфетами, – нет, они вынесли ему в подарок еще и сандалеты, и вот тут бабка Матрена побежала за кульками в Ново-Покровку.

Но он наотрез, одеждой уже травмированный, сказал, что костюмчик ему не нравится, сказал он спокойно, с холодком разбивая сердце старухам, – дура Мари даже всплакнула, бабка же Наталья, более мудрая, огорчилась, но не сдалась: это пройдет, мол, известная детская причуда, а неприятие, мол, лишь поначалу, пока костюмчик новенький. Он стал снимать. Бабка Наталья сказала, как повелела: «Андрей, костюм носи!.. И ладно, если испачкается! Для того и куплен – пачкай, милый, однако носи!» – но тут вмешалась и возразила из своего угла бабка Матрена, задетая, в сущности, лишь тем, что ее внука назвали Андреем: «Костюмчик хороший – однако пачкать-то не обязательно, пусть носит по праздникам: *чай, не богач*…»

– Пусть носит и по праздникам, и помимо, – сказала бабка Наталья своим непререкаемым голосом. – А богачей, не знаю, слышали ли вы об этом, давно нет.

* * *

Неприязнь бабок, взаимная, была для него явлением новым и необычным. Он не знал примера, а возникавшие в бараке ссоры, частые, шумные, в счет не шли: он понимал ссоры как необходимое дополнение к мирной жизни или даже как некое уравновешивание мира, но не как неприязнь. Мать и отец, не гордецы и вполне люди своего времени, никогда не говорили о разности своей, да они и не были разными – разговоры их были общи, а ссоры понятны. И лишь однажды, и притом направленно роясь в памяти, Витя-Андрей отыскал один-единственный разговор, как бы разделяющий отца и мать, но и тот разговор лишь подчеркивал, что былой раздел не болит. Было так. Их желчная соседка в бараке ябедничала матери или же просто жаловалась на кого-то, на чью-то семью; вот, мол, он и она никак не живут в мире из-за разности привычек, а также – подчеркнуто было – из-за разности былого благосостояния их бабушек и дедов. В таком стиле, многословном и, может быть, провоцирующем, шел разговор, однако мать откликнулась просто, равнодушно и с той степенью небрежности, что заподозрить ее в осторожности или в лукавстве было невозможно. Мать сказала: «А у нас на этот счет просто. Мои вовсе из бедных, из крестьян, да и его родители – баре, а в *общем* нищие…»

И теперь неприязнь удивляла, неприязнь не имела понятной ему основы.

– Бабка, – спросил он, – почему ты их не любишь?

– Не знаю. Так уж случилось, милый.

Бабка Матрена доила корову, а он стоял подле. И пока молоко дзинькало, тоненько билось в ведро, бабка Матрена, привычно оттягивая корове соски, завела вдруг рассказ – ты,

мол, не думай, милый, что *она* и вообще *они* такие уж добренькие, за костюмчик ей, конечно, спасибо, у нас таких нет, но ты не думай, что они такие всегда, – *такие* они стали теперь, да и то здесь, в деревне. Они – *наездом добренькие*. Единственный раз, а все же была она, бабка Матрена, в Москве – и когда с покупками и намаявшаяся, перекрестившись, решила она «заглянуть к родне», встретила ее в барской квартире вальяжная бабка Наталья, была там и эта полукукла Мари – и ведь тогда они ее, бабку Матрену, не приняли…

Корова стала переступать с ноги на ногу (запахло прелью и навозом), и бабка Матрена прикрикнула как на лошадь:

– Н-нну!..

После чего продолжила рассказ о том, как ей, бабке Матрене, сидя в креслах посреди огромной квартиры, бабка Наталья сказала: ты, мол, милая, пойди да продай, что привезла, нам всего этого добра не надо. Нет-нет, никаких гостинцев. Привезла же им бабка Матрена сала да еще косынку, красивую, уж она не помнит цвета, да мешочек овсянки, да еще чего-то. Так и сказала ей бабка Наталья: «Продай поди…» Она побыла в их квартире около получаса, а потом ей пояснили: ночевать, мол, у нас тесновато – ступай в гостиницу, и не дать ли денег тебе, если у тебя на гостиницу нет?.. Ну, ясное ж дело, отправилась бабка Матрена, но только не в гостиницу, а на вокзал, она и не знала, что это за такая гостиница, города она боялась, пошла на вокзал, – там-то на нее, спящую, уронили ночью большой чемодан, расшибли руку, рука зажила, а вот ноготь изувечился: памятка… Она сказала: *коготь изувечили, смотри* – и (оторвавшись от вымени) протянула маленькому Ключареву свою руку (в каплях молока), показала на большом пальце правой руки ноготь, раздвоенный как копыто, видный и в сумерках.

Тут же и как бы опомнившись, бабка Матрена вздохнула:

– Не жалуюсь я… Они меня так или не так, а все же пустили в дом, напоили чаем – а я, нагрянь они ко мне в те дни, может, и вовсе бы их шуганула: грех вспомнить! ох, мог быть грех! – И бабка трижды перекрестилась, шевеля губами и выпрашивая неслышное прощение за что-то, что могло быть.

Бабка продолжала доить, а он пошел к плетню, уяснивший, что неприязнь не только существует, но и – давняя. По-детски ему захотелось мира, мира вообще и мира меж бабками, а кино в то время уже стало одним из самых распространенных способов мечтания (мечтали движущейся перед глазами кинолентой – мечтали и как бы еще и еще прокручивали желанный фильм, то останавливали, то гнали вперед-назад, как пьяный киномеханик; это было настолько удобно, что не просто, а даже и трудно было предположить, как же мечтали девочки и мальчики докиношной эры), и вот он вышагивал вдоль плетня, потом вниз по тропинке, а в голове крутился фильм примирения, где бабка Матрена вовсе не собиралась шугануть бабку Наталью, она, правда, стояла у ворот с огромной метлой – ворота тоже были огромные, с кольцами, и бабка Матрена ходила там дозором час и два. Иногда в жару она пила квас, бидон с квасом стоял тут же, иногда подремывала, но, едва показывались на дороге люди или телега с людьми, бабка Матрена вставала и, держа метлу на отлете, суровая, вглядывалась. Она отирала пот красной косынкой, а вот и появлялись, приближаясь к воротам, бабка Наталья и ее Мари. Они начинали рыться в своих чемоданчиках, ища некие пропуска, – пропусков не было (они их забыли), но бабка Матрена из доброты пропускала их внутрь, и вела в избу, и сажала за стол.

Менее удавалась ему часть вторая, где бабка Матрена приезжала в град Москву, который ему представлялся городом, состоявшим сплошь из домов с зубчиками на манер Кремлевской стены; с узелком, усталая, бабка Матрена приходила к *ним* в дом – дом ему виделся прекрасный, – после чего в залу с зеркалами выплывали сама бабка Наталья и Мари, шурша платьями; они вовсе не отсылали бабку Матрену в гостиницу, а, напротив, располагали ее на какой-то необыкновенно красивой кровати со спинками. Удивительным в этой части второй (с точки зрения предвидения будущего) было лишь появление возницы Петра, здешнего деревенского возницы (эпизодическая актерская роль), – он отвозил после длительного гостеванья

бабку Матрену в ее деревню прямо из Москвы. Растянутая, как балет, шла картина счастливых ее проводов – сначала тоже в зале, затем на лестнице мраморной, с поцелуями крест-накрест и поклонами, и наконец бабка Матрена, сойдя вниз, садилась на телегу, – а он, маленький Ключарев, оставшийся с бабкой Натальей и Мари, смотрел ей вслед и плакал, прощаясь, – прощание затягивая, он подсаживался на телегу и долго ехал с бабкой бок о бок. Довольная собой и счастливым гостеваньем у родственников, бабка Матрена обнимала его и, поцеловав напоследок, говорила: «Стой, Петр, хватит!» – и возница останавливал лошадей, чтобы мальчик спрыгнул с телеги. Вдаль вела пыльная дорога, по которой бабка Матрена теперь уезжала, делаясь все мельче и мельче, вместе с лошадьми и с телегой, и облако пыли уже совсем скрывало ее алую косыночку. (Предвосхищение тающей в клубах пыли косынки удивляло его даже и во взрослом состоянии, когда он вспоминал реальную тающую вдали косынку, но не бабки Матрены, а бабки Натальи. Это уж было наяву, но было позже.)

Не постигая вполне, он, однако, чувствовал неодолимую тягу к этому их примирению и все играл и играл, подчас до подступающих к глазам слез, фильм о матери отца и о матери матери. Они без конца гостили. И среди прибытий их и отъездов, встреч у ворот и провожаний, в которых маленький мальчик тоже непременно участвовал как свидетель, если не как соучастник, – среди сладостно знакомого действа, он вдруг оглядывался, и выяснялось, что никакого кино нет и что он шляется в полном одиночестве по тропе, а то и стоит посреди огорода бабки Матрены и рвет сладкие незрелые стручки гороха.

Глава 3

Маленький Ключарев скучал по машинам – в деревне их не было, а все же одна грузовая, каким-то чудом возникшая, пролетев и проскочив махонькую деревню, оставила свой невеселый след: задавила кошку, которых было здесь неисчислимое множество. Кошка валялась на обочине, и деревенские ее попросту не замечали, не заметил и он, но заметили гостьи – Мари и бабка Наталья: обе вдруг шумно о ней, раздавленной, заговорили, и тогда мальчик тоже вспомнил, что действительно валяется возле дороги кошка – сам видел.

– …Не понимаю, – клекотала Мари, – русская деревня, насколько уверял Толстой, очень чистоплотна по природе своей, и тогда откуда же это безразличие? Это же недопустимо гигиенически. Это же черт знает что!

– Моя дорогая Мари, граф Толстой не очень-то… – И дальше бабка Наталья заговорила на французском.

– … – ответила Мари.

– …

Мари вынырнула вновь на взволнованном русском:

– И все же клянусь, Натали, я сама готова пойти и ее закопать. Это же зараза!

– Так и сделаем, Мари, кстати, и пример будет…

Они вели разговор в следующей позиции: старушка Мари читала книгу, вглядываясь близорукими глазами, а бабка Наталья вязала, бабка Матрена, в разговор их не вступая и сидя поодаль, штопала какую-то свою штопку. На время прервавшись, она притащила дров, подтопила печку – и вновь штопала.

И сказала, вставляя свое словцо в общие:

– Конечно ж, надо зарыть. Дождутся, что мальчишки в чей-то колодец ее бросят! Вот и болезни пойдут – в Ново-Покровке уж было такое!

Мари всплеснула руками:

– Чудовищно! И ведь действительно будем воду пить – не зная! – Она обратилась к бабке Матрене уже впрямую: – Уважаемая Матрена Дормидонтовна, скажите, на который день колодец проваливается, если бросят кошку, я думаю, лишь на третий, да?

– Шут его знает, – ответила та.

– О господи! – заохала Мари. – Натали, я, ей-богу, пошла бы сейчас, взяла эту кошку и снесла бы в лесок или в поле, но даже и сто метров расстояния мне кажутся невыносимыми при одной мысли, что, пока ее несешь в руках, вокруг тебя облако микробов…

Бабка Наталья поправила ее:

– Чтобы как следует отнести от деревни, нужно не сто – тут нужен километр целый.

– Ну что ты, Натали, необходимо метров триста, не больше.

– А я говорю: километр!.. Заразу и ветер разносит!

– Триста метров!

– Триста метров – это ничтожно мало, Мари.

– Натали, ты такая спорщица!

Спор о расстоянии, на которое необходимо оттащить кошку, казалось, был бесконечен:

– Триста ли метров, пятьсот ли, но ты, Натали, только представь: в одной руке ты несешь кошку, в другой лопата, идешь, а вокруг тебя, наукой это уже доказано, облако микробов, ты идешь именно как в облаке – и все время дышишь! Для нашего возраста, Натали, подвергать себя такой опасности – преступно!

– И не подумаю, – неожиданно сказала бабка Наталья. – Тьфу! Я, моя дорогая, на нее даже и не взгляну!

– Но ты же ее видела!

– Не видела я ее – это ты замечаешь всякую гадость! Еще в молодости, вспомни-ка, что говорили про тебя наши…

– Натали! Я тебя прошу. – Мари, а вслед за ней и бабка Наталья перешли на лихорадочный французский, споря и обвиняя друг друга.

Маленький Ключарев, подремать не сумевший, тем временем спустился с печки – он вяло зевал, потягивался.

И вот бабка Матрена, подымаясь, сказала ему:

– Идем-ка к крестной сходим: у нее коза есть. Вот и образованные говорили: козье-то молоко как лекарство!

Бабка Матрена уже вовсю работала на неприязнь. Они вдвоем шли по улице, белой и пыльной, к избе, где жила крестная, когда маленький Ключарев вдруг обнаружил, что бабка Матрена пристукивает лопатой, – он глянул, она шла и, как палкой, пристукивала лопатой, чтобы не нести ее в руках. Охотно, хотя и не спеша, она пояснила мальчику, что «эти вот образованные и чистенькие» только говорят, а дело не делают, к тому же дела и не знают, занятые глупыми и ненужными вычислениями метров.

Кошка валялась раздавленная, та самая, и тут же, на обочине, бабка Матрена выкопала яму – немалую яму, почти в метр глубиной. Выкопав, поддела кошку лопатой и швырнула ее в яму, просто и умело. И закопала.

– А ты отойди, милок, – сказала она в самом начале дела, вероятно все же считаясь с образованными и с их «облаком микробов».

Когда с кошкой было покончено, он удивился, что они повернули и пошли назад, к избе, – он спросил: а как же, мол, коза крестной и козье молоко?

– Какая коза?.. Да Кузьма ее неделю как свел в Ново-Покровку и пропил: такой дурной!

* * *

Вдвоем они вешали липучку для мух: из привезенного с собой тюбика выдавливали клейкую янтарную массу на тоненькие полоски из газеты, а едва пропитавшиеся, цепляли их к специальной газетной ленте (типа дорожки) на потолке, – это делала бабка Наталья, влезшая на высокий табурет, а Мари придерживала ее за ноги, чтобы та не упала. Липучка была старомодная, требовавшая искусства. Трудясь, обе напевали, пока с руки бабки Натальи не сползла, нависая все больше, медлительная струйка химической желтой слюны. «Ай-яй-яй!» – Мари, обхватившая ноги бабки Натальи, закричала, стоя внизу, она уже видела надвигающуюся на нее беду, а бабка Наталья не видела и говорила: «Я не падаю – почему же ты в панике, ма шер?!» – тут и она увидела и, тоже вскрикнув, стала ловить свисающие струйки ватой, а затем голыми ладонями. Пока Мари пискляво подсказывала ей – *где* и *как* ловить, новый ручеек липкой массы, откуда-то взявшись, скользнул на лоб, она завизжала, а бабка Наталья, клонясь, начала падать, но и тут Мари мужественно ее удержала, – зато вся прикнопленная газетная дорожка вдруг пала вниз, как птица махая липкими крыльями, после чего и Мари и бабка Наталья заверещали, зашумели, обвиняя друг друга в неудаче, и, наконец, прервав труд, подскочили к мальчику, держа в пальцах ватку, смоченную духами, и попросили: «Милый, оботри нас…»

Глава 4

Так что теперь он уже знал, что они – в неприязни; это не было ни распрей, ни ссорой, он уже чувствовал отличие, и хотя он ни разу не посмел им ни сказать, ни намекнуть, однако в неприязни этой он участвовал – и чутьем, и особенно наблюдательностью, уже заострившейся. Неприязнь – это, по его пониманию, было как чужой запах. Их мелкие словесные стычки сменялись взаимным молчанием с длительным косвенным давлением и с оглядкой на внука: чью сторону примет, если поймет? – а ему не нужна была сторона, и сердце его вовсе не разрывалось даже и в напряженном их затишье, а когда возникала словесная стычка, он, как ни странно, с удовольствием чувствовал, что он не одинок и что он с ними – с обеими, а этого и хотелось. (Конечно, когда он общался с одной из них, ее любовь чувствовалась сильнее, но и чего-то недоставало.)

Бабка Наталья была высокомерна, но была она нежнее и женственнее, в то время как бабка Матрена слишком походила на работницу из котельной, каких он видел не раз в городе и в поселке. Бабка Матрена снимала чугунки с кольев плетня или же, в деревенских своих трудах, без конца закрывала-открывала двери сарая, – и он сравнивал сначала, конечно, лица: на лице бабки Натальи была и удерживалась этакая белая, хотелось бы – голубая – пыль, которая была вовсе не пыль, а возрастной пух на щеках, легкий и белесый, и, напротив, бабка Матрена была, казалось, вся в черной закалине – и морщины и щеки были подернуты если не загаром степным, то некой чернотой, впрочем тоже не отталкивающей.

– …Коз хотя бы держали. Пуховые платки хотя бы делали – ведь Оренбуржье! – говорила бабка Наталья с укором.

И бабка Матрена вполне спокойно (не сразу и не сейчас, а солидно выждав и поговорив для начала о чем-то ином) ей возражала:

– …Хозяйство как хозяйство. А что ж, скажем, от козы проку? – да никакого: ни мяса, ни пуха толком. Травы они не жрут, дай им молодые побеги, а где напасешься – они ж всю рощу обглодают, все мало. А доить? – за пять раз не выдоишь, а всего-то молока два литра…

Это говорилось в ответ, но именно не сразу, а отступив по времени, и подумав, и уже вполне заготовленно развернув слова в атаку «на непонимающих – на тех людей, что дела никакого не знали», на что в свою очередь и в свою минуту (тоже выждав) ей отвечала бабка Наталья – отвечала высокомерно и колко. Эти старухи – Наталья и Матрена – в разговоре своем то сближались, то хитро отдалялись: двое, и что ж это за изысканный танец словесный был, если даже девятилетний ребенок внимал с интересом; старуху Мари ни та ни другая не принимали всерьез и держали как бы для заполнения пустоты длинных этих вечеров при керосиновой лампе с иззубренным жерлом, с которого, казалось, осыпается крошками мелкое стекло. Иногда бабка Наталья вдруг вставала, сухонькая, прямя прямую спину, – ноги ее были на разных половицах, чуть расставлены, и ступали по половицам длинные эти ноги в чулках строго и отмеренно, однако бабка Матрена, тоже чуткая, не давала ей преимущества говорить расхаживая, когда можно соразмерять шаги и слова, и в свой черед вставала с лавки. Она сажала чугунок в печь, чтобы подогреть, и не просто сажала, а прямо-таки медлила с ухватом и с чугунком, а потом с другим чугунком, а потом опять с первым, пересаживая его на новое, как бы лучшее место, – и слова ее шли движениям в такт. Отвечала она будто бы нехотя, будто бы меж делом и делом, морщась от печи и едва на собеседницу оглядываясь: такой вот был танец их обеих, а Мари как Мари. Мари была при бабке Наталье, как при бабке Матрене был дом и чугунки.

Зато по наивности своей Мари могла вдруг прервать их словесный танец, чем обе бывали недовольны. Мари могла ни с того ни с сего ворчливо сказать:

– Мы же гости – сами мы еды не возьмем, милая, покормите нас.

– Сейчас, – говорила бабка Матрена.

– Да потерпи же, ма шер, – возмущалась бабка Наталья.

* * *

Бабку Наталью он видел до этого дважды, в ее наезды, а теперь видел ее в третий раз и – забегая вперед, – можно сказать, в последний. Он мог бы и тут ее не увидеть: бабка Наталья нагрянула в поселок, к его отцу и к матери, и, о ужас, не застала внука, которого, оказывается, только что отвезли в деревню подкормиться в тот голодный, 47-й год. Она, может быть, передала бы подарок – костюмчик и сандалеты – и уехала бы в свою Москву, однако возраст и общее ощущение судьбы очень верно подсказали ей, что внука Андрюшеньку она больше не увидит. Конкретно же ее испепеляла мысль, что его «вот-вот увезли, два дня назад!» – что и толкнуло ее вновь собираться и ехать в деревню, зато уж сама передаст подарок. Из Москвы она захватила (прихватила) с собой Мари, и теперь она вновь ее захватила – в деревню, и старенькая Мари бурно радовалась, что едет, едет и что на некоторое время окажется «в среде крестьян».

Маленький Ключарев не мог понимать и не понимал, почему у бабки Натальи тряслись руки и губы, когда она вручала ему костюмчик, не понимал, почему она была так разодета, в лучшее свое платье и в жакетик, а шляпку не надела: она в косынке приехала да и ту сняла, простоволосая, чтобы (отец после пояснил Ключареву) Андрейка лучше запомнил ее напоследок, ибо головной убор лицо тяжелит, и в памяти остается именно что не лицо, а шляпка или косынка.

Бабку Матрену он тоже видел в третий – и тоже в последний раз. Деды уже умерли к этому времени, два чужих человека, никогда не видевших друг друга, а вот старухи остались, так что теперь как оставшиеся, как последние старухи выражали каждая свой смысл и свою суть, выражали, а даже и вдалбливали в маленькую его голову.

И ведь были же настырны в своем. Уже могли бы и не спорить, жизнь прошла. Бабка Наталья очень скоро поедет по своим делам и по своим давним приятелям в Сибирь, где и умрет. «И зачем ей это было нужно?» – скажет с некоторым укором мать, а отец Ключарева, сын бабки Натальи, смолчит. О Мари – особый рассказ; вздорная старушонка, она потащилась за бабкой Натальей и тоже скоро там умерла, бедная, взбалмошная, жалкий обломочек прошлого, никем не понятый и никому не нужный.

И тоже год жизни (чуть более) оставался бабке Матрене: в следующую зиму она умрет. А еще через десять лет, укрупнения ради, снесут эту вымороченную махонькую деревеньку, в числе других изб не станет и этой избы – исчезнут в известном смысле не только актеры, но и их, так сказать, сцена, их подмостки. Все в прошлом. И ведь старухи если не знали, то, наверное, предугадывали и прозревали скорый конец огромным своим вещим знанием, – чего же они так воевали меж собой напоследок, что же и кому доказывали, неужели мальцу?

* * *

Хотя оттого, может быть, и доказывали, что – напоследок. Оттого и на виду были эти выхлопы неприязни, как и выхлопы страсти к внуку: бабка Наталья в первый же день отозвала его будто бы по делу и вопреки своей сдержанности и своему тону порывисто прижала к себе, даже и напугав, – она вновь, как при встрече, присела на корточки, сделавшись одного с ним роста. Память сохранила, что, приседая, бабка Наталья не сползала и не обрушивалась на землю, как старые женщины, была в ней еще и легкая сила, и стать породы, и вот, присевши, она шептала ему, что ты, мол, золотой мой, мой серебряный, не думай, что Урал этот дымный и эта деревня – твоя родина, она твоя, но отчасти, отчасти! – родина же твоя исконная – Орловщина. «…Запомни, мой золотой. Вырастешь и вспомнишь слово бабки Натальи – Ор-лов-щина!» – вбивала она ему в сознание слово по слогам, еще и требовала: повтори. Он повторил.

Она не отпускала. «Нет, ты повтори, запомни, заруби в памяти навсегда», – шептала страстно она, тиская и целуя, а ему уж и неловко и жарко было от ее объятий и от ее духов, которые так нравились запахом издали.

«Бог знает, что ты городишь, Натали, – подала голос подслушавшая Мари. – На Орловщине нашей все давно выродились, там нет народа. Спасибо скажи, что *эти* вплеснули в твоих здоровой крови!» – «Выродились – не значит умерли!» – возразила бабка Наталья. А Мари продолжала: «…Низкорослые, ма шер, лица скопцов, неумные, вялые, уже не народ…» – и тут она перешла на французский.

Бабка Наталья и ее Мари со своим необыкновенным слухом (острый слух отчасти и погубил ее позднее), обе они на другой же день уехали бы из деревни, вручив подарки маленькому Ключареву, ну, уж на третий уехали бы точно, так как делать им здесь, в деревне, было нечего, а «ле гран-мама Матрену» терпели они с трудом и только из вежливости. Они уехали бы, но грянул уральский ливень. Для Южного Урала в полосе, граничащей со степями, не характерны две-три небольшие грозы в один день, напротив, три-четыре-пять дней подряд льет ливень, после чего стоит долгий жар и зной, вплоть до ливня следующего: природа отстрелялась – и отдых. Вот эти-то три-четыре-пять дней плюс время на поиск подводы, которая довезла бы старух с их чемоданчиками до станции по раскисшим дорогам, обернулись неделей (даже больше), что так запомнилась Ключареву.

В слабом свете керосиновой лампы бабка Наталья вязала и выговаривала Мари, чтобы та сошла с низенького сундука и пересела на лавку, – на сундуке, мол, сидеть не слишком красиво и, возможно, *для кого-то* обидно.

– …Там у нашей милой Матрены, вероятно, похоронное одеяние. Это, кажется, называется теперь спецодежда, я так и не разобралась, Мари, в новейшем толковании слов, – там лежит чистое для похорон, а ты расселась!

Бабка Наталья бранила будто бы Мари, на самом же деле выпад заострялся в сторону бабки Матрены, сидевшей поодаль и тоже вязавшей; не бабка Матрена придумывала сложные современные слова, и не была она никак олицетворением новой жизни, однако и нелогичный выпад попадал в цель, притом точно, благодаря одной лишь интонации. И бабка Матрена, промолчавшая, ждала теперь свою минуту. За вязаньем старухи коротали долгий вечер, и стычки их были приятны маленькому Ключареву тем именно, *что* он чувствовал за этим, – не знал что, но чувствовал. Стычка развивалась, неторопливая во времени и в словах, а он как бы черпал, узнавал из нее новое для себя, дополнительное, притом что из слов и фактов конкретное чувственное знание тотчас становилось для детского ума вновь забором и заслоном: не истолковывалось. И если разговор их уходил в сторону, маленький Ключарев томился от ожидания, а даже и от желания их стычки и – как следствия – желания новых слов, новых жестов, всегда, впрочем, сдержанных, и новых тонкообидных намеков. В томлении мальчик ждал того поворота в прихотливом течении их словоизлияний, когда вновь они начнут покалывать друг друга, попадая, а их лица – вновь вспыхивать, как и положено, если укол достигает сердца. Для него это было обыденным и скромным приглашением к познанию двух очень разных старух (как двух начал), приглашением к познанию, которому суждено было затянуться на много-много лет и которое все еще в Ключареве не кончилось, уйдя в глубину и распространившись на другие лица и другие поступки, в то время как сами старухи уже давным-давно были в земле, распавшиеся в прах.

Как ни разумен запрет и как ни некрасива была их тайна, мальчика манила разгадка, пусть неполная, но даже и не сама разгадка – манил процесс разгадывания, а возникшая тогда же в Ключареве тяга к противопоставлению сторон, тяга к пониманию природы противопоставления, а также этот духовный особенный кач, то туда, то сюда, хотя и разрушали гармонию, в сущности же, сами были определенной гармонией: примирением. Покров смыслового незнания был ему, быть может, даже полезен: разум молчал, а сердце покачивалось то туда,

то сюда, и в этом каче каждодневное и острое разрешение противоречия их любви – любовью стало гармонией его детства, которую он впервые тогда почувствовал.

Казалось, сам цвет воплощал; голубой – он был нежен, но был высокомерен, малодоступен и слишком бил в глаза, как, скажем, красный слишком прямо бил в ноздри и в сердце: усвоение разницы цветов вбиралось быстро. И, как всякое чувственное знание, оно переходило в быт, и, скажем, цвета весны – голубое и зеленое – летом казались уже неполными. Теперь, если переводил глаз с голубого неба на зеленую траву, он невольно искал в зеленом красное, ему не хватало его, недоставало, и, поискав, глаз радовался вдруг обнаруженному в зелени травы мухомору, и сам цвет, вспыхивая, был вспышкой радости. Возможно, тут срабатывало и нарождающееся мужское начало: мужчины часто смешивают цвета, а путаница зеленого с красным – один из узловых дальтонических моментов.

Особенно отмечалась им разница их поучений: если бабушка в алой косынке наказывала быть терпеливым, не алчным, к еде не торопящимся (и, стало быть, нетерпение и торопливость к еде именно и в очередь первую изжить), бабушка голубая, напротив, утверждала, что если чего-то хочешь – прямо так и скажи, руку тянуть за куском, конечно, необязательно, однако же можно и без спросу руку протянуть, беды нет. Голубая бабушка даже и настаивала: назвать словом свое желание – это правильно, это необходимо; если что-то взять нельзя, тебе так и скажут – нельзя, но не молчи, никогда не молчи о своем желании, иначе, мол, будешь в жизни скрытным и до самой старости будешь много мучиться по пустякам. Мальчик же никак не мог постичь противоречивую их мудрость: он раздваивался именно от нежелания раздвоения, и эта арифметика еще отмстит ему в будущем, пусть даже обогатив взамен определенной цепкостью наблюдений.

А рядом сделался для него страстью, вдруг вспыхнувшей, запах помидорной ботвы: хотелось ее оборвать, вынюхать! Помидоры были еще зелены, но он хотел бы и их раздавить и сокрушить, тем самым сокрушив, быть может, и загадку запаха, сотрясавшего его душу. Оборвать было бы проще, но нельзя, и в раздвоенности желания он доставлял себе некое особое наслаждение: не обрывал и не вынюхивал – лишь проводил крепко рукой по ботве, после чего быстро прижимал к лицу, и не остывшая еще от помидорной ботвы ладонь отделяла ему острый, терпкий, грубый аромат, пьяня и давая выход.

Глава 5

Бабка Матрена, напугавшись, его ограничивала. (Жадная еда первых дней обернулась для него рвотами и сильнейшим поносом.)

– Бабка Наталья, чего мне *она* есть не дает! – жаловался маленький Ключарев, как всегда по-поселковски называя не бабушкой, а бабкой и ища поддержки, однако бабка Наталья и ее Мари лишь грустно смотрели на клянчащего еду мальчика: «Терпи, мой золотой, – сейчас трудное время, все терпят». Они сочувствовали ему, но не впрямую: здесь все было чужое; они и сами были невольные нахлебницы. Разумеется, они бы не так лечили мальчика: необходим не голод, а диета, – так говорили, так шептались они меж собой по-французски, но их выдавала интонация: у старух по интонации можно прочесть все.

Его рвало, а понос, начавшийся с молока, прихватывал внезапно и сильно: иногда он выбегал во двор прямо из-за стола. Под взглядами приезжих бабка Матрена растерялась, занервничала: то закармливала его, то морила голодом, и тогда он вновь жалобно канючил, ища сочувствия у молчащих старух:

– Бабка Наталья, да что ж она меня не кормит – есть хочу!

А в ночь, когда он затемпературил, бабка Матрена контратаковала, устроив гостьям разнос: почему они сидят сложа руки? Как это понимать – образованные, а лечить не умеют?!

Маленький Ключарев лежал на печке и, засыпая, слышал вспыхнувшую их перебранку.

– …А если вы, дорогуши, владели поместьями – это еще ничего не значит!

– Да не владели мы поместьями! – вскрикивала Мари. – Мы всегда считались из обедневших, из выродившихся!

Бабка Наталья горделиво вмешивалась:

– Но мы же не враги: власть прямо об этом заявила… Мари, в восемнадцатом году от какого числа был тот указ?

– М-да, – говорила Мари. – Сейчас, сейчас я припомню…

– И припоминать нечего, – язвила бабка Матрена. – Указ указом, а люди людьми.

Тут они обе, а с ними и Мари, – все трое разом смолкли, потому что маленький Ключарев заворочался; он слез с печки и зашлепал босо по полу. «Жарко мне…» – повторял, а они на него, температурящего, кидались с объятиями. Уговаривая его никуда не ходить и полежать («Милый ты мой, родной», – бубнила одна бабка, а другая бубнила: «Золотой ты мой, серебряный!»), они упрашивали еще и еды не есть, а выпить лекарство: пережди, милый, пережди, золотой, однако, как только он решительно хватал хлеб, кружку молока, яйцо, они ничего поделать не могли, неспособные отнять кусок в голодное время. Одна перед другой они только и суетились, чтобы выпил он доморощенное лекарство, отвар трав, который облегчит ему жизнь и поможет, – отвар же был отвратительно горек, и мальчик милостиво соглашался выпить зелье лишь тогда, когда нажирался так, что его уж заранее тянуло рвать, что и случалось чуть позже.

Вновь засыпая, он слышал с печки, как бабка Наталья корила свою Мари за то, что та ничего не знает, ничего не помнит: в юности Мари готовилась стать сестрой милосердия, а позже, во время войны 1904 года, даже занималась два месяца на курсах, практики, впрочем, у нее не было: не успела. Старчески роясь в памяти, Мари уверяла:

– …а если нет медикаментов, лучшее средство от рвоты и от поноса: отсутствие еды вообще. Три дня пить кипяток.

– Но как можно не кормить голодного? – возмущалась бабка Наталья. И вновь укоряла бедную Мари: – Скверно вспоминаешь!

А та плакала и, всхлипывая, что-то лопотала по-французски.

* * *

Ручеек – скажем, бабки Натальи – пробивался в его сердце вроде бы скромно, а потом вдруг растекался там вширь, все забивая и все вытесняя, однако час спустя (всего лишь!) маленький Ключарев избавлялся от этого разлива, затопляемый разливом с другой стороны, – притом что и другой ручеек, бабки Матрены, тоже пробивался поначалу робко, скромно, столь же незаметный, но и неотвязный.

Мальчик не мог отвечать им, отчасти из-за непривычной огромности, объемности их любви, – и уже бывал рад мальчишеской выходкой скомкать и прервать рост чувства, угрожавшего обременить его детскость: он мог поклясться, что сквозь остроту старческих непрячущихся слов скрытно просвечивает, а то и проглядывает что-то ему опасное: может быть, женщина. Он был заторможен, молчалив, от неумения ответить на любовь любовью, так что обе бабки казались не столько любящими, сколько вымогающими любовь, и вымогатели эти тем не менее прощали ему его черствость и холод, и, кажется, их вовсе не интересовала взаимность: лишь бы любить. Как и всякий ребенок барака, любимый мало и скудно, он был еще и в смущении. Его могли бы приманить житейские истории или старые легенды, но старухи, что та, что другая, думали о приманке слабо: наделяя его, маленького, несуществующей рассудительностью, они изливали свои чувства прямо и открыто, как человеку взрослому, который и игру в приманки, и саму приманку давно перерос.

Их чувства текли сквозь него ручейками порознь, однако и порознь оставались в нем тем, чем были, – любовью; и, когда обе бабки умерли, а он повзрослел, оба неостановимых ручейка так и текли сквозь его жизнь, сквозь его поступки и – страшно сказать – сквозь его любовь к женщинам.

Глава 6

– …Сколько веков вы на нас ездили! – ярилась бабка Матрена, непростившая. Она нет-нет и вскипала, намекая, что они, барыньки, хотят, чтобы она за ними ухаживала и полы мыла, хотя они вовсе этого не хотели. – Получается, вы опять желаете на мне ездить – не выйдет! лакеев нет!

Спора не было, распри не было, а они – спорили. Споры их уже и в то время устарели: были архаичны, если не вовсе нелепы.

– Но помилуйте, ма шер, о чем она говорит! – возмущалась Мари. – Вы нас кормили, это верно, но ведь мы вас учили грамоте, образование вносили! И вообще бунт этот, революция, – не без нашего же участия в конечном-то счете!

– Да-а, очень вы нам помогли в революции, как же! Это уж доподлинно знаем – я вон фильм-то «Чапаев» два раза смотрела: знаю про вас и про ваши сладкие разговоры тоже знаю!

– Но послушайте… – И тут они замолкали, потому что приходила соседка бабки Матрены, толстуха, с белым лицом, отекшая и слабая.

Она приходила с какой-нибудь суетой, с просьбой, а, в сущности, приходила в помощь бабке Матрене в ее спорах. Стеснительная, толстуха никогда не вмешивалась и, охая, лишь вызывала, уводила бабку Матрену, после чего они сидели где-то на завалинке или же у толстухи в избе, беседуя о том и о сем, а также обсуждая: «А ты ей, барыньке, так-то сказала?.. А ты еще ей так-то скажи!» Через час бабушка в красной косынке возвращалась от толстухи как бы с новым запасом нападений и мелких уколов, но и бабушка голубая вместе с Мари времени не теряли: успевшие обговорить стычку прошлую, они тоже встречали врага своего во всеоружии.

– Ведьма! – цыркнув слюной в угол, сказал как-то маленький Ключарев про толстуху, когда та увела его красную бабушку ковать оружие, – сказал и ждал одобрения со стороны бабушки голубой. Возможно, что и сказал он, и слюной цыркнул именно ради одобрения, по-детски хитря, ибо к толстухе ровным счетом никаких чувств не питал.

Однако голубая бабушка одернула его, притом сурово:

– Вслед ушедшему не говори дурно, милый.

* * *

Мари подведет ее слишком острый слух – на вокзале она расслышит о некоем «хорошем и довольно скором поезде» и уговорит бабушку Наталью именно этим поездом поехать к своим давним сибирским приятелям. Состав на деле окажется полугрузовым-полупочтовым, к тому же по пути в Сибирь его повагонно расформируют, после чего старухи будут добираться на машинах, перевозящих лес. Плоховато одетые и с малым запасом денег, старухи умрут, едва осилив трудности долгой и голодной дороги. Кое-как добравшиеся до намеченного сибирского поселка, прожив одна месяц, другая полтора, они скончаются там без шума и следа.

Впрочем, след остался: умирая, бабка Наталья, по-видимому, выживала из ума, потому что, притихшая, причащаясь у местного священника, передала через него завещание, чтобы ее любимого внука Андрея Ключарева, когда он в будущем тоже преставится, похоронили рядом с ней, то есть на бог знает каком и далеком сибирском погосте.

* * *

Бабка Матрена тоже умерла через год и завещала, по-видимому тоже слегка спятив, чтобы ее любимого внука Виктора Ключарева похоронили рядом с ней, в уральской деревушке,

на кладбище. Деревушку же через десять лет снесли, в связи с выморочностью, так что кладбище оказалось заброшенным и вмиг исчезнувшим в бурьяне, и, хотя Ключарев был жив и весьма подвижен, приехать и отыскать он не сумел, и потому в будущем у него было столь же мало шансов лежать рядом с этой бабкой, как и с той. Он был уже студент, был молодой, горячий, смешливый и, в частности, много смеялся, рассказывая о параллельном последнем желании своих бабушек, позднее он уже не смеялся.

Он помнил споры об имени.

– …А что ж, – говорила Мари, – что ж, Натали, ты так упряма? Викто€р, – она ударяла на последний слог, – прекрасное имя.

– Но – не Витя! – чеканила бабка Наталья.

А бабка Матрена вмешивалась:

– Ясно: уж вам подавай баронские имена. Мы, грешные, баронские-то клички собакам даем!

– О! – вскрикивала Мари. – О!..

И немела от вопиющего, как она выражалась, хамства.

При рождении Ключарева бабка Матрена через дочь настояла, чтобы внуку дали имя Виктор, а бабка Наталья, в свою очередь, прислала письмо с пожеланием – Андрей; так скрестились интересы. Отец и мать Ключарева в их тяжбе не участвовали (возможно, и не догадывались), они порешили просто: кто первый высказался, так и будет; но старухам-то и было важно – кто первый?.. Через недолгое, сравнительно с жизнью, время у маленького Ключарева появились братья, и можно же было второму или третьему сыну дать запоздавшее имя, но в том и суть, что дать второму значило уступить, и старухи не уступали и до сей поры стояли на своем и на выбранном каждая. Маленький Ключарев решительно ничем не выделялся среди своих братьев, тоже маленьких и тоже Ключаревых, но он был первый, и старинное право первородства, даже и отраженное, вдруг ожило и для старух стало значимым: первородство значило право первого.

Значимым (теперь) могло стать любое слово.

* * *

В первые два дня маленький Ключарев ел слишком алчно, на третий день он стал жевать долго и старательно, чтобы почувствовать вкус еды, но так и не чувствовал, – теперь же, отравившийся, он вовсе не ел, однако запах и вкус еды, запоздалые, тут-то и преследовали его, теперь именно он почувствовал и хлеб, и молоко, и вкус крутого яйца. Он уже не мог слезть с печки, он лишь стонал – звал стонами, – и бабка, та или иная, все равно, успевала подбежать к нему с тазом, после чего, склонив над тазом голову, он извергал еду: рвало его огромными кусками, непонятно как умещавшимися в желудке. Болезненно постанывая и затягивая время – а вдруг подкатит? вдруг не конец? – он сердито, в ознобе смотрел в широкое нутро таза, а потом откидывался наконец и совсем отворачивался – молчал и слышал, как старуха, та или иная, все равно, удаляется, шаркая по полу и держа на весу таз.

Не сон был. Но и не совсем бред. Был некий поток его собственной жизни – всплывший и иногда вполне связный. Вдруг возникало, преследуя, лицо врага его – Дулы, физически более сильного да и постарше, который искусно менял мальчишьи стаи и был этим непонятен, даже и загадочен: он переметывался то на одну, то на другую сторону, пользуясь тем, что в качестве сильного был всюду желанен. «Ты с кем?.. с кем?.. с кем?» – вопила пацанва, а он не спешил с ответом и вдруг, схватив половинку кирпича, с диким криком: «Ура!..» – устремлялся на тех, с кем еще вчера был вместе.

Их промысел, наглое и отчаянное мальчишечье воровство на рынке, но затем – логику нарушая – в видениях возникало лицо, фигура и даже улыбка дяди Толи Доброгорского, огром-

ного мужчины, который был весел и тем особенно хорош, что не терпел Дулу… выскочив на улицу, дядя Толя вмиг разметал всю стайку чужого барака, разогнал и накричал вслед, а когда те бросились бежать, он, добрый дядя Толя, стоял и, дело сделавший, покуривал, оставив мальчишкам добивать своих противников, уже разбегавшихся кто куда, – он, может быть, чувствовал себя Суворовым в миниатюре, стоял и покуривал папироску добрый дядя Толя, а поверженный, но коварный Дуло по канаве, тихий, крался и крался незамеченный, а затем вынырнул из кустов не с половинкой, а с целым кирпичом в руках; десятилетний малец, он не без труда его поднял – а как же он с ним, трудяга, полз? – он поднял кирпич и нанес удар по затылку, после чего дядя Толя, огромный дядя Толя Доброгорский, Суворов в миниатюре, рухнул на коленки, и в глазах у него, надо думать, было темно. Дядя Толя ползал на коленках, и хрипел, и как будто искал в траве только что выроненную удачу, а бежавшее воинство чужого барака к этому времени, конечно, уже развернулось и с гиканьем устремилось на них, и маленький Ключарев, метнувшийся в сторону, сшибся с выскочившей из барака к павшему мужу женой дяди Толи, миловидной белокурой женщиной, которая недавно родила двойню и младшенького из этой двойни задушила во сне, заспала, нечаянно на него навалившись.

Он знал, что лежит на печи, что чистый и белый над ним потолок и что внизу – чистая тихая изба, по которой тихо-тихо бродят старухи, любящие его с последней, остервенелой силой любви, тем не менее барачный дым клубился – жизнь барака тянулась по его следу и клубилась, была как дым, и сам мальчик был как черная головешка, тлеющая и дымящая образами той, прежней жизни. За окнами грохотал гром, и уральский дождь лил так шумно, долго, настойчиво, словно дождь-то и силился чадящую головешку загасить, после чего отдернуть свой серый занавес и показать мальчишке уже недолго, навсегда, маленькую чистенькую деревню, речку, белую дорогу – и небо с солнцем посредине.

И вновь возвращенный по времени назад, он после свирепой игры в чику швырял Дуле в лицо пригоршню проигранных медных монет-недоделок, Дуло успел отвернуться – и потому весь заряд, как заряд дроби, вошел Дуле в затылок, в висок, в темя, а много дней спустя стриженый свой затылок Дуло станет показывать всем, хвастая. Он даже и потрогать давал, – металл на лету рассредоточился, в результате чего там и тут вспухли крупные, а затем мелкие шишаки, равномерно, без пропусков покрывавшие пацанью башку, такого ни у кого не было. «У меня кипящая голова!» – говорил Дуло, не лишенный образного мышления.

– …А как мы выберемся, если дождь кончится, но *она* нам не поможет?

Бабка Наталья произнесла:

– Не поможет, ну и ладно. Сами найдем подводу, сговоримся – и поедем.

Старухи сидели возле лампы и негромко разговаривали. Керосиновая лампа помаргивала, а Мари вздыхала:

– Хоть бы дождь прекратился…

Он понял, что глаза у него открыты, почувствовал прилив сил, но затаился. Новый прилив сил толчком пришел изнутри, и тогда мальчик тихо, беззвучно засмеялся: жив… Страстно захотелось на улицу, на воздух, но он не спешил и осторожно оценил обстановку: воровскими мальчишечьими движениями слез с печки и, прячась, скрываемый стремянкой, прошмыгнул к двери, слыша колотящееся сердце. Когда гром бабахнул, как бы раскалывая с треском небо, мальчик приоткрыл дверь, кинулся в сени – и был на улице.

Сколько он себя помнил, дождь его никогда не пугал – надо было только пройти осторожно мимо хлева, где, как он догадывался по времени и по ее отсутствию, бабка Матрена доила или задавала корм. В темноте он мог теперь вполне оценить, как и чем отличалась гроза в деревне от грозы городской, – ночь была чернее, а чудовищные молнии были самые синие, даже и белые, они легко, просто распарывали небо: природа грохотала и сотрясалась вся целиком. Он стал, прижавшийся к полуразрушенной стене загона, стоял и ждал – чего? В промельк

молнии на краткий миг вспухало черное поле огорода, и пятнами вспухали поодаль купы ив, и шумно, нескончаемо лил дождь, какого никогда не было.

Он немного и прошагал, когда сообразил, что испачкал о загон рубашку и что его уличат, – в некотором страхе рубашку он стянул и, протягивая перед собой, совал под льющие сверху струи, чтобы замыть, рубашку же внезапно вырвало и потащило ветром – он бежал за ней по грязному картофельному полю, а рубашка цеплялась за ботву, то как белая птица взлетала вверх и даже хлопала рукавами, как крыльями. Она исчезла. Когда очередной всполох молнии высветил пространство, он увидел ее вдруг уже в десяти шагах, беленькое ее тело, – и кинулся как мог быстро (он был без брюк и бос, какое счастье, что без брюк). Проехав плашмя по ботве, которая превратилась в холодные, остро пахнущие листья, и по земле, превратившейся в черный кисель, он упал, но тут же и вскочил, меся черную кашу ногами, – рубашка, прихваченная, уже была и билась в руках.

Когда он вернулся, бабка Матрена все еще не появилась, а эти две бабули тоже его не хватились – сидели и вели долгую беседу на ночь глядя.

Грязный ком рубашки он постирал в выставленном тазу; он быстренько повесил ее в сенях на веревке, что протянулась, нависая, над старой кадкой и над громадным ларем, на котором долеживал творог под гнетом. Выждав, как и при уходе, раскат грома, он рывком приоткрыл дверь, втиснулся из сеней в избу – и одним духом, в мокрых трусах, влетел на печку.

Лежа на печи и мало-помалу согреваясь, он тихо, сдержанно постукивал зубами. Он слышал негромкий разговор. Он еще не заснул, когда бабка Наталья и ее Мари подошли к образам в углу, приблизившись, опустились на колени и стали пришептывать. Помолившись, они легли на лавки, что стояли одна перпендикулярно к другой вдоль стены, – так и лежали, переговариваясь чуть слышно и с долгими паузами, а потом затихли. В тишине пришла бабка Матрена, управившаяся с вечерними делами, – на минутку она поднялась по стремянке, глянула на внука перед сном и тут же спустилась. Он затаился. Еще минута, и бабка Матрена прошуршала, уже босая, молиться она не стала, лишь мимоходом приложилась губами к иконе.

Он спросил на другой, кажется, день:

– Неужели тебе нельзя ее полюбить? Это почему же невозможно, чтобы вы любили друг друга?

– Невозможно, милый, – ответила бабка Матрена. – Так получилось.

Глава 7

И бабка Наталья, и Мари были одинаково тщедушны, худосочны и различались меж собой мало – у бабки Натальи все же была спина, прямая спина, худая и прямая, а Мари была просто как высохший жучок, увеличенный лишь настолько, чтобы в какой-то мере походить на человека. Столь же худа и мала была и бабка Матрена, разве что руки, а если точнее, кисти рук были покрупнее, да был еще ноготь, раздвоенный как копыто; и тем-то удивительней, что в крохотно усохших тельцах жила неприязнь, жили страсти.

«От отца или от матери, от обоих ли – откуда же пошла в рост моя безындивидуальность?» – спрашивал Ключарев много после, взрослый и в себе копающийся… В бабках, он помнил, личное бросалось в глаза прямо и непосредственно, зато и было влияние: уже тогда, без жесткой поступи и в душе не наследив, незримым путем голубое и красное из цветов превратились в некое знание жизни, пусть чувственное, но со временем распространяющееся и вширь и вглубь. Очень скоро Ключарев-взрослый даже и годы своей жизни станет делить на год голубой и год красный. Отчасти играя, он будет моделировать текущую жизнь из двух цветов: голубой – это опять же нежный, высокий цвет, однако же заметно надменный, самообманывающийся; в сущности, это цвет несильный, лишь гордыней своей, а то и чванством рядящийся в силу. Красный же – цвет истинно сильный, практичный, хотя и не возвышенный, не тонкий, а по природе своей расчетливый (притом, что упрекающий всех вокруг именно за расчетливость), цвет отчасти еще и циничный, хотя и добрый, готовый понять, и простить, и поплакать с тобой, без тени высокомерия, без снисходительности. И пусто, серенько делалось ему, когда цветовая гамма детства не помогала ему понять, не срабатывала (а такое, разумеется, бывало), и какая только мешанина цветов не мерещилась тогда Ключареву в том или ином встреченном в жизни человеке, подчас человека перекашивая и делая вовсе темным.

Ливень не иссякал, но выздоравливающий мальчик повеселел и уже расхаживал по избе с разрешения бабушек, к счастью не знавших о его ночном походе, – смелея, он отметил, что с грозой можно вполне освоиться и в деревне: он уже не приседал при чудовищном раскате грома или же только имитировал испуг, приседал, но нарочито, – мол, делаю вид, что пугаюсь. По приезде он замечал внешнее: поле, и дорогу, и речку; теперь же, запертый, он заметил в избе и лавки, обретшие смысл, и светоносные окна со ставнями. После нагого поселка, а также после города, где на окнах были жалкие занавески, ставни в избе имели особый, понятный смысл: закрыть-открыть, есть свет, нет света, и даже герань на подоконниках подчинялась этому уясненному смыслу, первая встречая луч и первая же его утрачивая. Более того, пораженный, он сумел углядеть ту же простую прямоту и в бабушках, которые в известном смысле тоже были жестче, но и прямее устроены. И если одна бабушка открывалась, то вторая закрывалась, и наоборот – если любила бабка Наталья, бабка Матрена на время, пусть недолгое, затаивалась, уходила в тень. Они не суетились, они давали друг другу – враг врагу? – любить не мельтеша; отступая на время, они выжданно и открыто выплескивали свою любовь как противовес, но не как мешанину, – чуткая и вместе не уступающая ни пяди параллель долго хранилась в нем неким эмоциональным законом прямоты, постичь который он не мог, лишь чувствовал.

– …Не согрешишь – не покаешься, – намекала на что-то бабка Матрена.

И бабка Наталья отвечала:

– Святость, конечно, из греха, но святость, моя милая, для человека уже следующий, уже совсем крупный шаг.

В том и урок, что разность объятий двух бабушек была не только разностью рук и разностью запахов.

Обнимаемый бабками, он подчас не орал в их объятиях и не выдергивался только из терпеливости, но при всем том он уже понимал, что любовь их к нему свята, индивидуальна и направленна и что было бы нелепо, если бы, скажем, обе они обнимали его разом.

С дождем свыкаясь, он уже умел чувствовать особенный холод грозы меж одними зигзагами молний и другими: в миг молнии, в миг двух-трех-пяти ударов кряду нутро у него замирало в смутном ожидании беды, и вот тут – в промежуток тишины – холод брал свое и вдруг проникал в него, стоявшего на крыльце (на крыльцо он уже выходил – постоять под навесом). Сила холода ощущалась как бы меж грозой и грозой, именно меж двумя сериями ударов – в промежутке. И почти так же он чувствовал силу любви. Сначала скапливалось неудовольствие одной бабушки, и это означало ее любовь; накипев, она разряжалась (в сторону другой бабушки) так быстро, что он не всегда понимал, в каких словах, и не всегда улавливал, потому что разряд шел помимо него, – но зато теперь он чувствовал, как скапливается неудовольствие второй бабушки (в сторону первой), и это тоже была любовь к нему. Одна молчит, значит, другая – любит, так он привыкал, а в силу каких страданий их любовь к нему поднялась на высоту неба, он не знал, да и не знал, что это можно знать.

– …Споря с *ней*, Мари, я так надоела самой себе. Я, верно, скоро умру. Я никогда так себе не надоедала, – говорила бабка Наталья.

Она вязала (она думала, что он спит), а он, лежа на печи, испытывал это удивительное обаяние коротких, вдруг возникающих реплик и умолчаний.

– Он забудет меня.

Мари возразила:

– Он полюбит тебя со временем – издали. Когда повзрослеет.

– А красива ли я издали, Мари, вот в чем вопрос.

И смолкли.

Внутри избы он пригляделся в последнюю очередь к тому, что было ближе всего, – к потолку; нависающий над печью потолок был прямо перед его глазами. Незамечаемая близость потолка, да и близость стены, стыкующейся с потолком, как оказалось, хранили для него определенное ощущение своего места, которое тут же исчезло, едва кончился ливень.

Глава 8

Незанятых лошадей в деревне не было, а ходить от избы к избе и слезно упрашивать бабка Матрена отказалась: ищите, мол, и сговаривайтесь сами…

Мари спросила:

– Как же это? По дворам, что ли, ходить?

– Именно. Если искать, я ведь тоже бы по дворам ходила. Мне тоже не докладывают – кто куда едет.

Бабка Наталья и Мари по дворам ходить не желали: им мнилось, что бабка Матрена заглазно уже представила их всей деревне в искаженном, а может быть, и в нелепом виде. Они нашли облегченный путь: то Наталья, то ее Мари выходили в самый конец деревни, это называлось «выйти за кузню», – маленькая и почти всегда не работающая, стояла там омертвевшая кузница, сарай такой, и сразу же за этим сараем избы кончались, а дорога раздваивалась, и более накатанная из двух – налево – вела к станции. Одна из старух, неся вахту, выходила туда и стояла на белом пыльном пятачке раздвоения дорог и, если подвода проходила мимо, спрашивала: «Не подвезете ли?..» Этот житейский опыт, рассчитанный на городское «вдруг», здесь себя не оправдал, более того, подвел их: единственная подвода, шедшая на станцию, сама собой стала, и возчик крикнул: «Давай, бабка, влазь скоренько!» – на что бабка Наталья сказала, подожди, мол, *товарищ*, храня достоинство и прямизну спины, она отправилась за Мари, но пока обе старухи пришлепали к развилке со своими изящными чемоданчиками, возчик уехал.

На следующее утро старухи вновь поцеловали маленького Ключарева; ранехонько вставшие, они кое-как перекусили, наскоро поплакали о маленьком, оставляемом ими Андрейке и пошли на развилку со своими чемоданчиками и с бутылкой колодезной воды, заткнутой тряпицей. Они простояли все утро, они стояли еще и до обеда, пока жара и зной не загнали их вновь в избу.

Слово *характер* в бараках было в большой чести – то самое понятие, которым мальцы хоть как-то отличались друг от друга. Говорили, что такой-то «пацан с задатками» или «со способностями», наверху же всей горы существующих слов и оценок было слово *начитан* («пацан здорово начитан!..»), но еще выше, уже у самого неба, располагалось слово «характер». От слона веяло тайной куда большей, чем от трофейных кинофильмов или колдунов Гоголя, а услышать к себе применительно, что «у мальца – кажется – характер», было мечтой из самых сладостных. Характер – было что-то как бы найденное на дороге, данное от судьбы, чего никак нельзя было ни купить, ни даже вычитать в книгах.

Пусть невольно он выискивал этот самый характер в самых разных людях, встречающихся в его детстве, и, разумеется, он не искал в этой избе, однажды решив, что никакого характера у тщедушных и носящихся со своей любовью старух нет и быть не может, – и лишь много позже, взрослому, ему было дано понять, что он ошибался и что именно в бараках собственное лицо, называя его характером, мало кто имел – потому и говорили о нем утратившие.

Бабка Наталья, не сумевшая и в этот день найти подводу, разбитая, стоптавшая ноги и выжженная солнцем, говорила в слабости своей (жить ей оставалось год):

– Я умру, милый, но я буду с тобой.

Она говорила:

– Я умру, но я буду с тобой, моя радость, моя улыбка, мой ангел…

– Как ты будешь со мной, если ты умрешь? – интересовался внук.

Не поясняя, она говорила о том же:

– Мне ничего не надо, *мне даже не надо, чтобы ты помнил меня*, но я хочу быть с тобой, хочу, чтобы моя любовь, моя нежность, моя душа были рядом с тобой, когда ты будешь жить, а я не буду…

Она заплакала:

– Ты забудешь меня, но я и забывшего буду тебя хранить: я буду по утрам с тобой (вечера, бог с ними, ты найдешь, как и кем свои вечера занять), но по утрам, когда будет раннее мягкое солнце и ты будешь просыпаться и будешь идти по улице, я буду с тобой рядом, я буду с тобой, я буду с тобой, и *мне ничего больше не надо*…

Маленький Ключарев услышал сухой треск, когда бабка Наталья вырвала клок своих волос; не ойкнув, она выдрала прядь – она улыбалась, от волнения губы ее прыгали, глаза сияли. Она повязала вырванные волосы вокруг среднего пальца его руки, она заматывала ему палец, а волосы секлись и рвались, а она опять заматывала и надвязывала. Стараясь передать ему свое пережитое и обретенное в опыте, а также и свой мир, пусть небольшой, бабка Наталья и бабка Матрена – обе – не сомневались, что мир каждой из них, хотя и мал, намного превосходит тот, каким дышал и жил маленький Ключарев, то есть мир бараков. Более того, у каждой из старух было чувство неоспоримого превосходства над тем миром, каким дышали его отец, его мать и он сам. «До чего дожили!» – говорила и та бабка и другая; они так говорили про его любимые бараки, и, кажется, это было единственное, в чем они меж собой соглашались.

* * *

Бабка Матрена умерла через год, вдруг ослабевшая. Умирая, все, что у нее было, она раздавала или же продавала совсем дешево. Торговаться по слабости уже неспособная, она продала дом «на вымор», то есть доживала в нем сама, а ведь в поселке или в пригороде, сумей она выехать туда на торги, и хозяйство, и корова, и дом, хотя бы как сруб, стоили бы много дороже. Это верно, что, слабея умом, она завещала похоронить внука Витеньку рядом, однако же кое-что она соображала, в частности ее тревожили тысяча сто рублей, оставшиеся от распродажи, и она у знающих людей с упорством выспрашивала, что купить Витеньке, чтобы было и памятно и ценно. Ну хоть велосипед, говорил кто-то, ну часы, но она, как бы предвидя ход дней, все отвергала: «Не промахнуться бы. Не подешевеет ли это?..» Она так и не придумала ничего и, не придумавшая, завещала деньги просто как деньги, после чего и умерла – счастливая и радостная, наказав верному человеку, чтобы передал деньги ее внуку из рук в руки. Ключаревы, однако, жили в далеком уже городе, и передать им было непросто.

Не прошло и месяца-двух после ее смерти, как в связи с денежной реформой деньги превратились в сто десять рублей, но и эту сумму верный человек передать пока не сумел, – ослабевший ногами, он передал деньги другому далекому родичу, а тот и вовсе умер, успев, впрочем, в свой черед наказать сыну, одному и другому, с деревенской аккуратностью взяв с каждого из них честное слово. Прошло много лет, Ключарев уже кончил вуз, уже работал второй ли, третий ли год, и однажды в Москве после бурной попойки и пенья песен хором, после внушительного «посошка» Ключарев пошел проводить одного из родичей к метро, или, может, его провожали, – уже и это нелегко вспомнить, – как вдруг родич сказал ему: «Слушай, а ведь я должен тебе деньги отдать – твоя бабка оставила, помнишь, в письме писали?!» – «Да ладно!» – «Нет уж, давай-ка точку поставим: я отцу обещал!..» И родич настоял – идем-ка, мол, в сторонку, и притом именно сейчас: а то, мол, он опять и надолго забудет. Заплетаясь ногами и покачиваясь, они подошли к близкому фонарю, и там, при бледном его свете, родич вынул кошелек и, порывшись, – слава богу, нашлись без сдачи! – выдал Ключареву одиннадцать рублей, в которые превратился бабкин дар после двух реформ.

Бабка Матрена была уже в сильнейшем забытьи, когда те, кому она продала избу, пожелали въехать, так как бабка никак не умирала до зимы, хотя и обещала. С уральскими морозами, если нет крыши над головой, шутки плохи, – потому они въехали, а бабку Матрену отвезли в Ново-Покровку, где, кажется, она и умерла и была похоронена. Ключарев и по сей день не знает, где лежат ее старые кости, ибо могильных крестов той поры, от времени истлев-

ших, уже не осталось; соответственно, не знает он и того, где завещано ему лежать. Он не знает ни одной из могил двух старух, любивших его больше, чем другие люди. «Так получилось», – как сказала бы бабка Матрена.

Так получилось, что после их смерти возникнет в Ключареве огромный и холодный провал *нелюбимости*, – и это время, время без любви, ему придется жить и прожить, вплоть до поры взросления, когда возмужание и опыт близости с женщиной в многоликой сумме своей уравновесят наконец потерю, пусть даже отчасти обманом.

Глава 9

– Ч его орешь, тварь?! – грозно сказала бабка Матрена корове и даже не нагнулась за хворостиной, а ткнула кулачком ей меж ребер, – корова уже и прежде смолкла, признав и голос, и право бить, так что тычок в ребра был уже лишним, но и лишний этот тычок корова приняла – и вдруг убыстрившимися шагами пошла в хлев.

Бабка Матрена была не в духе.

Она тоже не могла найти подводу, а ей надо было ехать на рынок и, продав овощи, добыть кое-какие деньги на жизнь. Мрачная, но уже решившаяся идти пешком, Матрена сказала бабке Наталье и ее Мари:

– Витюше там-то и там-то – молоко, картошка тоже есть. – Она добавила: – Хлеб есть. Пока я вернусь, должно хватить.

И она ушла, взвалив на плечи два полмешка молодого лука и прочей зелени: ранним утром, пешком, согбенная и угрюмая, она уже зашагала к станции, где и был рынок. Впрочем, она заглянула к толстухе соседке и сказала, что, если, мол, эти две цацы все же найдут подводу и уедут – пригляди за Витей… Конечно, она могла предложить своим гостьям, берите, мол, чемоданчики в руки и пошли со мной, однако же не предложила, ушла, посчитав, что цацы все равно откажутся, так как шагать с чемоданчиками им будет в жару тяжело.

Памятливая, она сказала: «Кормите Витю молоком и картошкой», про самих же их не сказала ни слова, и едва ли бабка Матрена предполагала, что голод, мол, не тетка – сами, мол, догадаются и сами возьмут. Тут именно мог быть умысел, и, скорее всего, ей хотелось, чтобы они именно без спросу взяли еду, притом чужую: бабка Матрена не была из добреньких, она жила своей жизнью и на чужую жизнь не равнялась. Витю, мол, покормите молоком и картошкой, а сами – ешьте что есть, этой-то вот простенькой и понятной добавки в ее словах не было. Недосказала она, а стало быть, горделивые старухи даже и хлеба сами взять не могли.

И старухи не взяли. У них тоже была своя жизнь, и чужой жизнью жить они не умели.

Оставшиеся, они не жаловались, что бабка Матрена их не кормит, они, правда, вздыхали, укоряя ее: они бы, мол, на ее месте не забыли и дали бы ей, бедной, как-то питаться, будь у них эта земля, и эта картошка, и эта корова, и умение за коровой ухаживать. Они не ели, выказывая иное свое умение, умение смиряться не уступая: оттого-то так страшно и пугающе быстро они худели.

Смирение не было полным, а было, так сказать, удельным: отдав, они оставили себе какую-то пядь и на этой пяди жили, оставаясь самими собой, и тут-то и было и таилось, быть может, отличие смирения от покорности, и Ключарев мог уже тогда впитать эту разницу, хотя бы частично.

– Земля – это счастье, – говорила Мари. И тихонько плакала.

Голубая бабушка ей возражала:

– Вздор, милая, земляное счастье нас ждет через два-три года. (Вместо отпущенного ей года она, видно, надеялась на два-три.)

– И все равно счастье, – плакала Мари и так некрасиво хлюпала носом.

В голоде Мари переменилась: мигом осунувшаяся, возникла деревянная старушечка, вдруг начавшая твердить, что счастье в крестьянстве и в обрабатывании земли своими руками, – зато за двоих выступала теперь голубая бабушка: она вроде бы еще больше держалась, и чеканила слова, и прямила спину при шаге. (Перемена в ней была меньше, но и меньшая перемена была для глаз мальчика куда заметнее и виднее, чем полное одеревенение Мари.)

И удивительно, как легко переносил он то, что он ел, а они – нет. Он как бы закрывал глаза и открывал, вновь вступая со ставнями в избе в некое отношение, и это не было какой-то там образной или символической игрой. Для взрослого это вполне можно было бы возвести в

образ: мальчик открывал глаза, когда ел сам, и закрывал, когда они не ели. Он как бы частил глазами, закрывал-открывал: в итоге же и в смещении возникала некая спокойность жизни, уравновешивающая и себя прощающая. (Каким образом в него, маленького, такое вмещалось и как такое мирилось с его совестью, он до сих пор понять не может, зато сколь многое понимает теперь благодаря той непонятности.)

Еще одно: голубая бабушка говорила: «Это – *наше*», – а бабушка красная говорила: «Это – *мое*», касательно, скажем, хлеба, касательно еды и всего прочего, касательно травы, берез, леса, земли, и мальчику думалось, что разница такая может быть оттого, что бабушка голубая (множественное число) была с Мари, а бабушка Матрена – одна. Лишь с возрастом понял он разницу их отношений и притязаний, хотя уже тогда, в детстве, смутное чувство подсказывало ему о некоем имеющемся тут противоречии, а даже и парадоксе, так как по логике им бы, конечно, следовало говорить *обратное*.

Глава 10

Бабка Наталья и Мари его кормили, собирая со стола даже и крошки – для него. А жадности к еде уже не было, и, стало быть, неторопящийся, он тем более мог видеть, что старухи сидели около, глотая слюну. Ослабевшие, они впихивали в него кусок за куском, не замечая, что обращаются с ним, будто ему годика три (он и в прямом смысле ел *за них* – вместо них):

– А этот кусочек за меня, Андрей, за бабку Наталью, неужели ты не съешь? Ты меня очень обидишь… – А он, медлительный, не желал открывать пасть. – А теперь за Мари – она ведь тебя очень любит…

Мари с запавшими щеками отворачивалась:

– Не люблю я его, если он не ест.

Отварив картошку, они толкли ее прямо в миске с молоком, после чего несли холодно-горячее пюре, картинно воткнув в него большую деревянную ложку. Глотавшие слюну, они сдерживались, и лишь однажды Мари вдруг сказала: нет, мол, сил терпеть голод более, а бабка Наталья строго ее отчитала за недостойную слабость: грассируя, она выдавала пассаж за пассажем, и Мари уже кивала, признавая вину, и каясь, и роняя слезки.

Однако к обеду второго дня старухи стали иссякать: отвлекая друг друга, они стали вспоминать ту и эту войну, ту и эту разруху. Как бы соревнуясь, они рылись во времени, легко и без натуги отыскивая памятные тяжкие дни там или здесь в долгой своей жизни: им было что вспомнить. «Помнишь ли, как в детстве на Орловщине…» – «Нет, – вдруг оборвала бабка Наталья, – а те дни мы вспоминать не будем. Это сведется к разговору о еде и о твоем любимом малиновом варенье. Я запрещаю тебе!» – «Наташа!» Глаза у Мари заблестели, сухонькие, бесцветные глаза. «Не будем», – сказала бабка Наталья.

Мари, обессиленная, легла на лавку, она всхлипывала: «Но почему не вспоминать?.. Мне так хочется вспоминать!»

А маленький Ключарев лежал на печке. Он мало что понимал, но понимал же он, что старухи хотят есть. Закрывший глаза, он старался заснуть, круто поворачиваясь то на левый, то на правый бок.

Мари забылась сном на лавке, а бабка Наталья сидела и вязала, когда он, заснуть не сумевший, слез с печки и вяло подошел к ней. «Бабушка…» – позвал он ее, желая что-то спросить, и тут же забыл – что, так как она, швырнув на лавку вязанье, прижала его с неожиданной силой к себе. «Да, бабушка с тобой, – она повторила, – да, твоя бабушка…» Ему было приятно и мягко у нее на груди, запах бабушкиных духов был остр и нежен, он чуть ли не мурлыкал, когда она сказала: «Сносишь костюмчик и забудешь бабушку, да?» – он стал уверять, что нет: обилием своей любви бабка делала из него младенца трех лет, а он, в свое время любви недополучивший, подыгрывал. Она сказала: «Мне жить недолго, вот и стараюсь, глупая, чтобы в памяти от меня что-то осталось, – прости меня, старую».

Он (лукавый) вроде бы не понимал, из чего она так бьется, однако же понимал: сердце его уже тогда (и, забегая вперед, можно сказать, – на десяток лет) было отдано бабке Матрене; взрослый Ключарев, когда бы и кто бы ни произнес слово *бабушка*, представлял себе деревеньку, и огород, и речушку, и именно бабку Матрену с ее черными, как бы пороховыми, солдатскими морщинами на лице и на шее; взрослый, он не раздваивался в образе, и нет сомнения, что в ту минуту детства голубая бабушка, вероятно, уже предчувствовала его выбор и знала итог тем особенным знанием, какое дается в старости. Она даже и смирилась с его выбором – быть может, потому, что считала, что любить бабку Матрену (удерживать ее и в голове и в сердце) мальчику и нужнее, и правильнее, и современнее, и безопаснее в смысле развития – тоже. Она еще и подсмеялась немного в ту давнюю минуту, прижимая и целуя его: «Смешная бабка Наталья, хочет остаться в памяти, да?»

Был ужин, то есть для маленького Ключарева ужин, для них же очередное голодание с видом на еду. Мари уже постанывала. Бабка Наталья зажгла керосиновую лампу – она принесла из погреба молоко, разогрела его, затем взялась за картошку, а Мари, постанывая, лежала на лавке: не поднималась, чтобы не видеть.

* * *

Подступала новая ночь (Матрена еще не вернулась) – июньские ночи стали прохладны, и мальчик подолгу лежал на теплой печи, слушая, как мучаются старухи. Говорила Мари, она нет-нет и капала слезами – мы, мол, только что отголодали такую войну!

– …Я ведь, Наташа, прости меня, согласилась поехать с тобой отчасти с умыслом. Дай, думала, на старости лет увижу русскую деревню, притом уральскую, далекую от всех и вся, далекую от споров и войны. И еще, сказать ли, знаешь, что я думала – похожу по улице, что может быть лучше лета в деревне, – детство вспомню, тишину и – молока попью!.. ты знаешь ли, мысль про молоко, про то, как я буду пить молоко из железной кружки после многолетнего голода…

– Ты меня не разжалобишь! – сказала бабка Наталья. – Есть нам не предложили.

– Я же не настаиваю на молоке, Наташа, Наташа!.. Ты меня неверно поняла, – заспешила Мари. – Я же говорю: хлебца-то можно поесть немного?..

– А тебе предложили есть хлеб? – холодно произнесла бабка Наталья.

Мари вновь заплакала.

Он слышал в дреме, как они запели, а когда он свесил голову вниз и глянул, они сидели обнявшись, Мари всхлипывала, и пели скрипучими старушечьими голосами песню, где слова были почти неразличимы:

да я-я-ааа одета-ааа… —

он засыпал, он посапывал носом, он слышал, как бабка Наталья спросила: «Мы не мешаем тебе спать, милый?..»

Потом сон отступил. И он слышал – Мари опять говорила:

– …Наташа, только не спорь: я надумала, что, если мы не умрем здесь от голода, в нашей жизни еще будет что-то очень замечательное.

– И необязательно реветь. Вытри слезы.

Мари послушно вытерла глаза, но продолжала:

– Ты знаешь, будет что-то огромное-огромное: оно придет, как облако, и будет стоять над нами. Большое и белое… Знаешь, почему я так думаю?

– Не знаю, почему ты так думаешь… Вытри слезы, опять ты плачешь.

– Почему? А потому, что в начале жизни у нас все было так хорошо! так прекрасно! и жизненное завершение после столь долгих лет тоже должно быть прекрасно: оно нас ждет. Оно ждет нас, Наташа.

– Да вытри же слезы!.. Нас ждет богадельня.

– Ну и что?

– Огромная белая богадельня – вот тебе разгадка твоего ожидания. Игры со старичками. И кино.

– А лото?

– Ну хорошо, и лото тоже.

Мари оживилась:

– А почему ты так плохо говоришь о доме престарелых, я не понимаю тебя, Наташа?

– Там прекрасно. Во всяком случае, там тебя покормят.

– Не иронизируй. И лото. И кино. И опрятность. А главное – ты же забываешь главное – там может произойти встреча с каким-нибудь интереснейшим человеком! Почему ты общение сбрасываешь со счетов? Это нечестно. Разве прекрасный и обаятельный человек, тонкий, умный, одухотворенный, не облагораживает любые стены?

– Помечтай, Машенька.

– Я не мечтаю – я верю!..

Они смолкли, а он в полусне усмехнулся, несколько удивленный тем, что тщедушные и полуразрушенные старухи хотят еще встретить в жизни какого-то человека (он силился представить себе старика с бородой – рядом с Мари).

– А знаешь, Мари, мы не умрем, – заговорила теперь бабка Наталья, – я искала и нашла выход: если Матрена и завтра не вернется, мы сделаем вот что: мы поработаем…

– Как?

– Помнишь, она жаловалась: в огороде, мол, полоть надо – мы прополем ей грядки… и поедим хлеба с картошкой – за труд! Это будет справедливо.

– Глубокая мысль, Наташа! Какая глубокая и верная мысль! – подхватила Мари.

Мальчик канул в недолгую дрему, как-то сразу успокоившийся за их жизнь. А разговор старух теперь, вероятно, кружил и кружил возле тех невсполотых грядок.

* * *

Он проснулся от легких шагов: сухонькая Мари вдруг устремилась к окну; открыв ставни, она приникла к маленькому окошку и вгляделась:

– Наташа! Какое очарованье! Какая луна!

– Да, сейчас полнолуние, – откликнулась бабка Наталья.

– Нет, она замечательная, эта луна, она упоительная! Ты слышишь, Наташа, луна!

– И что же?

– Как что – замечательная же видимость, все как на ладони…

Мари теми же легкими шагами метнулась от окна к своей давней подруге:

– Наташа, милая, ты только не спорь, ты такая спорщица и упрямица, с самого детства. Что ты доказываешь? кому?.. Матрена не права, конечно, бросила нас на произвол: с гостями, тем более с родней, так не поступают…

– С родней только так и поступают, – сказала бабка Наталья. – Именно с родней.

– Но не спорь же. Ведь ты согласна, ведь ты сама нашла этот выход: пойдем туда. Я тебе уступала, Наташа, уступи и ты теперь, ты согласна?

Молчание.

– Ты согласна, Наташа?

Бабка Наталья сказала наконец, что она согласна, и вот в лунную ночь две голодные старухи вышли в огород, подрагивая от холода, и принялись среди ночи обдергивать грядки. Согнувшиеся, они двигались полшажок за полшажком, медленно, поначалу не столько изымая сорняки, сколько – разглядывая. Они было поискали мотыги, но не знали где и не нашли, к тому же ночью, в темноте, вести прополку руками им показалось надежнее. Мальчик, позевывая, тоже вышел за ними – была луна и не спалось.

Они посоветовали ему идти спать, но он отказался, и было удивительно, что они не настаивали: они уже забыли о нем, поглощенные объявившимся и спешным своим делом. Хватая траву под корень, они дергали и дергали, и не сейчас ему было дано узнать, что в старости есть хочется куда острее, чем в любом ином возрасте.

Согбенные, они смещались по грядке медленно, как старые черепашки, он же ходил возле. Он посматривал на луну, которая в тот год холодно и неясно его тревожила. «А ты помогай нам, Андрейка», – сказала Мари, и голос ее, притихшую, выдал – она нервничала. Он стал

обдергивать помидоры, приткнувшись меж старухами и двигаясь понемногу следом. Вскоре ему надоело, и, зевая, он только ходил и смотрел, а старая Мари ласковым голоском ему выговаривала: «Ах, лентяй! ах, лентяй! Ты разве не знаешь, милый, кто не работает – тот не ест».

Через час, что ли, Мари сделала попытку разогнуть спину, однако бабка Наталья сказала:

– Нет, недостаточно.

– Но ведь уже четыре грядки, Наташа.

Бабка Наталья не ответила.

– Но ведь огород весь мы никак не осилим!

– Не заставляй меня повторять, Мари. Я же сказала: шесть грядок.

Закончившие шесть грядок, они разом иссякли – сели на землю и не вставали. Было слышно, как они дышат. А через минуту-две они встали и припустили бегом, ибо с желанием поесть больше бороться не могли: даже бабка Наталья слишком быстро устремилась в избу. Мари, конечно, летела впереди как на крыльях. Внук за ними еле поспел.

– Садись с нами, перекусишь, – сказала бабка Наталья (нож стучал по столу, она лихорадочно нарезала хлеб).

– Да, садись, садись, – волновалась Мари. – Такая беспокойная у нас ночь сегодня…

Но он-то есть не хотел. Его потянуло на улицу; старухам было не до него, и он, неокликнутый, вновь вышел в огород и уставился на луну: луна, в легких облаках, висела яркая в высоком небе, а низ картины занимали зубчики плетня, как бы вырезанные из черной бумаги. Мальчик взволновался: на частоколе плетня, на неподвижном и как бы вечном, плыли белесые облака, в центре же – тоже неподвижное – разместилось огромное и торжественное желтоватое око. Ощущение красоты и формы взволновало само по себе: оно было так же осязательно, как поверхность предмета, оно было явлено как звук или как запах, и, может быть, красота и форма говорили о желании, но о каком?.. Потрясенный новизной и возникшей тягой, мальчик глаз не сводил и лишь изредка, осторожничая, оглядывался на мокрую ботву и на черное поле огорода, чтобы, оторвавшись от их темной бесформенности, вновь бросить глаза вверх – к совершенству. Он чувствовал себя в полной безопасности рядом с этой грандиозной и торжественной красотой.

Когда мальчик вернулся, они, насытившиеся, лежали на лавках и уже спали: тоненько посапывала бабка Наталья и пушечно-громко храпела крохотная Мари. Он влез на печку и долго, беспричинно томился.

Он еще не заснул, когда дверь в сенях хлопнула и явилась бабка Матрена.

– Внучек, родной мой, – кликнула она негромко, но он не ответил – лежал с открытыми глазами, все еще томимый луной.

Глава 11

Проявляясь, любовь подчас жаждет повелевать или хочет хотя бы и внешнего, тусклого себе подчинения, – бабка Матрена уже с утра командовала:

– Витя, сделай то…

Или:

– Витя, сделай это…

И дергала его по мелочам туда и сюда, как бы желая убедиться, что за время отсутствия те старухи не утопили в своей любви ее любовь и влияние. Мальчик же подчинялся неохотно, скучал и рвался вон.

Он заметил, что взаимная натянутость бабушек, сохранившись, перешла в некую молчаливую форму: бабка Матрена молча их кормила, а они молча ели, говорили сухонькое спасибо и уходили вновь: шли на перекресток, ожидая там случайную подводу. В обед они возвращались, ставя чемоданчики в угол и жалуясь друг другу, что ноют ноги, что полный рот пыли и что жара их доконает. Его их слова, их неменяющиеся муки уже не интересовали (мальчишка не мог сосредоточиться раз и навсегда на одном) – его занимали последствия ливня.

Он бродил по негромыхающей природе, вверху было совсем тихо, и он много слышал жаворонка: тот пел теперь без передышки весь день, кувыркаясь где-то в небе, невидный. В тишине лишь ручьи грохотали – и какие ж это были ручьи! – казалось, что вдалеке идет поезд, звук усиливался, и поезд приближался – это значило, что мальчик приближается к одному из ручьев. Таких ручьев он не видывал. Земля была изъедена и обглодана, всюду ямы, рытвины, развороченные грубо и мощно.

Меж двух бурлящих потоков мальчик увидел свой муравейник – огромная муравьиная гора была смыта, снесена, напоминая внешним видом разорванную собаками старую большую шапку, клочья которой валялись там и здесь.

В муравейнике осталось лишь основание: большой и пахучий круг темной зелени; муравьишки там были, ползали, и пусть вода уже спала, и тот поток, что снес и разрушил, ушел в сторону, они ползали все еще испуганные, медленные; лишь некоторые на спинах своих подтягивали сюда новую землицу, а даже и новые травинки, в тихой надежде, что все на свете поправимо. Вероятно, они не представляли, какая потеря и какая утрачена высота, и это незнание, возможно, было их благом. Малочисленные, они были как отдельные пешеходы в вымершем городе (или, скажем, в утреннем городе, в ту рань, когда еще нет транспорта). Их было даже не жаль: в трагедии неуместна жалость; их было мало, верующие в судьбу, кто порожняком, кто с грузом, муравьи торопились по дорожкам, которые были давно забыты, так как на глубине этих путей (в основании муравейника) жили слишком далекие и слишком уже забытые их предки.

Ниже по ручью, наполовину в воде, мальчик увидел еще одну часть огромной шапки – муравьи тут сновали вяло и безжизненно, зная, по-видимому, что они оторваны и обречены. Они ползали как оглушенные, покорные концу и не пытающиеся понять, к тому же их сносило и слизывало мелкой волной – соломинку за соломинкой размывало, отрывало и, покружив, уносило водой. Маленький Ключарев не был брезглив или там пуглив в свои девять лет: сын барака, он запросто сгреб разлагающийся и сильно пахший кусок шапки и понес, проделывая вместе с засуетившимися муравьями обратный путь. Ему казалось, что несет он зримую, весомую часть, когда же он принес и положил ее на место бывшей горы, стало ясно, как мало спасено: лежала мокрая кучка, малостью своей лишь подчеркивающая ужасающую степень разрушения.

Он спустился по ручью еще ниже, где и нашел маленькие жалкие веники, по которым ползали десяток-два муравьев. Шаг за шагом – и чем ниже мальчик спускался, тем более жалкие

и мелкие остатки он находил. Последний веничек, выброшенный на землю бурлящим ручьем, был уже пустой и безлюдный, безмуравный: горсть травинок, которую уже не имело смысла подбирать и перетаскивать, но, увлеченный, он перенес и ее.

Вновь спустившийся ниже, мальчик увидел и долго рассматривал корни подмытой ивы, но еще больше потрясли его вымытые корни дуба – оголившиеся, вздыбившиеся, они отделились от земли, так что мальчик мог под ними пролезть. И наконец, маленький Ключарев спустился до места, где ручей впадал в речушку, теперь полноводную и свирепую: уровень ее поднялся, изменив береговую линию до неузнаваемости, и лишь огромный валун, за который мальчик в прежнее время, купаясь, цеплялся руками, был виден и бурлил, весь в пене. Остальных камней как бы и не было, речушка глухо шумела, гордясь глубиной.

* * *

Утро было с солнцем, однако он еще спал, а бабка Наталья поднялась к нему наверх по деревянной стремянке и над ним, лежащим на печи, склонилась: «Проснись, золотой мой, проснись…» И тут же (как бы одернув себя) бабка Наталья заговорила с той же ласковостью, но уже по-иному: «Спи, спи, прощай, моя радость!» – она уже не решалась его будить, лишь гладила рукой. Он лежал на печи в самом углу, близко к стенке, и потому она тянулась, чтобы достать, а Мари в это время придерживала стремянку и отчасти ее ноги, приговаривая: «Ты упадешь, Наташа, тебе никак нельзя падать!» – а та все пыталась его поцеловать, но уж губами ей было никак не дотянуться.

Он спал, но он слышал: тяжелая рука звучно хлопнула дверью в сенях – и голос бабки Матрены пробубнил: «Не будите его. Незачем – эка невидаль проводы!» – и эти обе тут же отпрянули, как бы уличенные, бабка Наталья сползла по стремянке вниз и принялась там суетиться, вбегая и выбегая… Отстранившийся, он спал сладким вторым сном, когда вдруг что-то треснуло его по голове, он вздрогнул, не веря, и вновь треснуло; сонному, ему казалось, что тело его уплывает в теплую печь (на которой он лежал) и в огонь, однако кто-то, препятствуя, словно удерживал его за волосы. Он очнулся, открыл глаза: Мари, влезшая на стремянку, колотила его по башке старым валенком. «Просыпайся, – шипела она, шептала. – Просыпайся и проводи бабушку Наталью…»

На крыльцо он вышел, зевая и щурясь от солнца, – подвода, запряженная молоденькой лошадкой, стояла прямо посреди дороги. Он заметил – из втулки колеса жирно выступал деготь, и одна черная капля висела, как бы не зная, упадет она в пыль сейчас или же когда лошадка тронется. А лошадка не трогалась. Бабка Наталья и Мари уже разместились со своими изящными чемоданчиками, и мальчик тоже, вдруг чему-то обрадовавшись, мигом влез в телегу. «Туда!» – прошипела ему на ухо Мари и показала, и тогда он пересел к бабке Наталье ближе.

Выскочила откуда-то бабка Матрена, видно из огорода, с подоткнутым подолом и с какими-то кустами в грязных руках. «Разбудили-таки… О себе думают!» – ворчала она, теребя в руках кусты с налипшей и нависшей на корнях грязью. Будь ее руки почище, она бы, возможно, выхватила его из телеги и ссадила. Теперь она только крикнула:

– Далеко-то не везите – ему ж обратно идти. Петр, ссади его за деревней вмиг – понял?

– Ага! – откликнулся возница.

Лошадка сделала шаг, после чего телега, покачавшись туда-сюда, сдвинулась, заскрипела, уронив, быть может, ту каплю дегтя, – и тряско, потом легче, еще легче и совсем уже легко и быстро пошла. Бабка Наталья прижимала мальчика к себе и говорила: «Золотой мой, *серебряный*…» – последнее слово, как он теперь лишь заметил, произносила бабка с долей печали, будто даже и серебро означало уже некую разбавленность и невысшую пробу. Она ласково, но не сильно прижимала его к себе, пока ехали. За деревней возница остановил лошадь, но бабка

Наталья властно крикнула: «Трогай!» – и возница Петр передернул плечами, экий, мол, голос, что-то он хотел ей сказать или возразить, но смолчал.

Он еще раз остановил, уже за кладбищем, и вновь «Тр-рогай!» – прикрикнула старуха, и он вновь погнал свою лошадку вперед, ни словом не возразив. Уже поднимались вверх, когда бабка Наталья, не ожидая остановки, как бы сама своей волей, при медленном вползании телеги на взгорье поцеловала внука и легко ссадила – он спрыгнул, как бы выпрыгнул из ее рук прямо в облако легкой пыли, и видел какие-то взмахи ее руки, и понял, что она его крестит. Оглянувшийся возница заметил уже сошедшего, отделившегося мальчишку, понял и хлестанул лошадку кнутом, и та прибавила ходу.

Теперь мальчик стоял на чистой, не пылящей дороге, а пыль клубилась за ними, уезжающими далеко. Он видел только пыль и лошадь, совсем маленькую.

Солдат и солдатка

Глава первая

– Н е вернулся, пропал без вести, – говорила она. И еще говорила (в этот или в другой раз): – А известие, что погиб, получили уже после войны.

И поясняла (при пояснениях Катерина всегда улыбалась независимо от смысла):

– Счастливым считалось имя, а вот не вернулся, Гришей звали.

Старшая сестра обычно посылала Катерину на дорогу, что мимо деревни, – продавать квас. Квас как квас, но все же был особый, на яичном желтке. Катерина выстаивала с ним и крутилась от молодости. Ждала. В деревне ей не раз говорили, что она тогда много хихикала. Что слишком весело она ждала, крутилась на месте и суетилась – а ждать так не положено, вот и не вернулся.

Она переставляла жбан, пряча от солнца, а поодаль сидел деревенский дед с семечками и вениками. Дед уже начинал слепнуть, и молоденькая, глупенькая Катерина радовалась, что если Григорий вдруг появится вдали в солдатской своей форме, то она наверняка увидит его раньше слепастого деда.

– Вот и не дождалась, – рассказывала мне Катерина. И суеверно поджимала губы: – Двадцать мне было. А в двадцать лет разве мыслимо сидеть на одном месте и ждать? Руку козырьком и все высматривать? Так, что ли?

И говорила, вздыхала о давно прошедшем:

– Конечно, немыслимо. А надо было.

– Неужели в такую чепуху веришь? – спрашивал я.

– Кто их знает…

* * *

Теперь Катерине было под сорок. Она приходилась мне родственницей, хотя и не близкой, – двоюродная тетка. Я приезжал к ней иногда на пять дней, иногда на месяц. Деревня была далекая, задорожная и без новых лиц. Кроме меня была в деревне и одна-единственная дачница, пожилая женщина с туберкулезным сынишкой. Эту дачницу в деревне хвалили за то, что она «за каждый чих» платит деньги. От нее и узнали, сколько стоит «продукт», тарелка борща, пользование огородом. Некоторые бабы увлекались, подсчитывали, сколько стоит все это вместе, и ожидали дачников, но дачников больше не было.

Слыша такие разговоры, я тоже сказал Катерине, что не желаю у нее кормиться даром, – сказал, хотя знал, что она не станет высчитывать. Высчитывать она и не стала:

– Двадцать рублей за лето дашь.

Через полчаса буркнула, не умея выдержать до конца эту появившуюся в последнее время жесткость:

– Не говори людям, что деньги беру.

– Не скажу.

И трусовато ушла, убежала во двор.

Летом Катерина готовила на «дворовой» печке, то есть во дворе, там стояла печурка ростиком в полметра, не больше. Катерина помешивала варку и суховато отвечала, если я спрашивал, но я почти не спрашивал. Отец и мать умерли, когда ей было шестнадцать лет, – возраст для деревни вполне рабочий. Старшая, единственная, сестра вышла замуж в не далекую, но

и не близкую деревню. Дом остался Катерине. Затем не вернулся ее жених Григорий, погиб. Вдова и не вдова. Где бы ни зашла о Катерине речь, Григорий поминался непременно, ну да, а вот Григорий, а ее Гришка, ну тот самый, который… хотя найдись, явись он сейчас сюда, ни одна живая душа не узнала б его без паспорта, так давно это было. Строгая, добросовестная, худая, Катерина работала в колхозе, копалась в своем огороде и так дожила до сорока лет в своей избе.

Когда будешь большая,
отдадут тебя замуж
во деревню чужую, —

пело радио. А отдали старшую сестру, а Катерину не отдали. Радио плакало о той судьбе, девица плакала, да и песня сама собой плакала, но Катерина не верила. И вот отдали бы Катерину, Катерина не стала бы плакать. И не подумала б. Сестра-то вышла замуж и живет, и деревня, в которую ее отдали, давно уже стала городом.

– Видно, и грустные песни о счастливых складываются. Только даром воют, чтоб себя показать… Что веселая песня, что грустная – все ведь о счастливых.

Вот так и очень насмешливо сказала Катерина (рассудила). И губы поджала… Я пошел к печке, бродить и смотреть, как закипает в чугунке краснота борща. Отношения у нас с Катериной были проще простого: она старше на пятнадцать лет, поболтаем немного, а если о еде, то чуть побольше поболтаем, да и разошлись.

* * *

Сестра к Катерине не наезжала, не разрешал муж. С войны муж пришел ревнивым, таким и остался. Ехать к Катерине – значило с ночлегом, а Катерина одинокая, то да се, кто знает… У Катерины никогда никого не было, сестра знала, и муж знал, а вот не разрешал.

С той малой ссоры Катерина стала как бы строже и сдержаннее. Обиделась на сестру. На мужа сестриного она не обиделась, вроде понятно, вроде так и надо, а на сестру держала зубок до сих пор. Обида, впрочем, не всплывала, не делалась въявь – обе сестры только и виделись на райцентровском рынке… А постепенно и к другим людям Катерина сделалась суше и строже, молчала и наблюдала.

Разговоры о замужестве стали ей очень нравиться лишь в самое последнее время. И то – чтоб не сама говорила, а чтоб рядом, чтоб кто-то. Пусть тот говорит, и та говорит, и все говорят, а она тоже словцо вставит – вот такая она!.. Быть может, ущербность вообще эмоция сугубо городская. Во всяком случае, Катерина в сорок своих лет считала себя невестой видной и достойной. Ведь работящая, путевая и собой не рябая или, как чаще здесь говорили, не оспенная.

Я тоже хотел ей сказать хоть что-то на этот счет.

– Что, тетка Катерина, делать я буду? Где жить?.. Приеду, а тебя просватают? Или потерпишь?

Я говорил, не слабел. Как ни скажи, все не мимо:

– Просватают, и хорошо, если летом, сеновал теплый. А если зимой я приеду?

– Уверкову у нас просватали, – отвечала она коротко. Показывала, что она не очень-то говорить хочет на эту тему, не болит.

Уверкова была женщина их деревни, спутавшаяся прошлым летом с шоферами. Шофера и механизаторы, наезжавшие к осени на уборочную, были в какой-то мере пугалом этой маленькой деревни и уж точно событием. Теперь и сама Уверкова стала бабьим пугалом. Уверкова то появлялась где-то в районе, то ее отмечали на базаре, и опять исчезала, а в пустой

ее избе безобразничали и играли чужие дети, – благо, своих не имела. В деревне не виделось большей беды и большего позора для бабы, чем эти дымные, пыльные, шальные полуторки и оскаленные смехом рты шоферов.

– Уверкову у нас просватали, – сказала Катерина и была довольна тем, что сумела ответить коротко и достойно. И с этим вот долгим довольством – это было заметно – шла в свою бригаду на корма или на прополку.

* * *

Дом Катерины с самого краю – рядом дом Наталки Козенковой, ее подружки. Дома бок о бок, огороды рядом и похожие судьбы: Наталка тоже не дождалась с войны. Правда, после войны Наталка выйти замуж сумела.

За избой Наталки тянулись остальные избы, два ряда изб и меж ними пыльная дорога. Когда-то эти избы и пыльная дорога повторяли линию речушки, изгиб ее, но речушка со временем ушла, съехала далеко, и осталась лишь белая галька – белые берега. Роднички буравились, били бойко, но быстро сохли. Родничков было много, и у близкого яра выкопали сносный для стирки пруд. От белой на солнце гальки и название – Белобережская или, проще, Бережки.

Я сидел в горнице, слушал через окно – во дворе были Катерина с Наталкой. Шел тот самый разговор. Наталка строила бессмысленные планы о том, как завлечь мужика из соседней деревни и упоить его вусмерть с Катериной. Ну понятно, пригласить, чтоб помог Катерине летом по хозяйству. Понятно, за картошку, ну даже за деньги, а? Помог бы, а там, глядишь… Будучи ровесницей и подружкой, Наталка свахой была никудышной.

– Глупости. Легко как-то у тебя все.

– Ну не с шоферами ж путаться, Катя.

– Не с шоферами.

– Вот.

И Наталка на память перебирала «незанятые» дворы соседней деревни.

– Вот. Дальше, Катя, давай за горкой кого-нибудь подумаем. Сергеич глух, а значит, не наш. Точно знаешь, что глух?

– Знаю.

– Ладно. У него к тому же и еще один ужас есть: тараканов трогает. Работать хорош. Умеет. А вот вечером таракана на полу изловит и смотрит на него. А?

Наталка вдруг вспылила. Уже в том, что она точно перечисляла, не пропустила ни одного двора, было для Наталки некое внутреннее оправдание: дескать, не походя, не просто так прикидывается и примеривается судьба Катерины.

– А ты не некай, чего некаешь?.. Если б, скажем, был у тебя муж, я разве пришла бы к тебе? Скажи, пришла бы? А уж если у тебя его нет, я пришла, и вот сидим, рассуждаем

– Глупая ты, Козенкова, – сказала Катерина.

Вошел в калитку бригадир, мужчина скромный, откашливающийся, и чувствовалось, что он им помешал.

Он всего-то и попросил, сказал, чтоб завтра вышли на прополку.

– Давай завтра же медаль, а то не выйду, – грубо сказала Катерина.

Медаль было слово не случайное, а особо насмешливое. Дело в том, что бригадир не первый год считал, именно Катерина заслуживает медаль, говорил об этом, твердил и находился в постоянном смущении, оттого что в районе этого никак не желали ни понять, ни даже запомнить.

– Чтоб к завтрему две медали, – сказала Наталка. – На всю деревню ни одной медальки. Даже не знаем, какого они цвета.

– Они в коробочках, – сказала Катерина.

Бригадир откашливался. Над ним даже сестра подсмеивалась. Головка у него была маленькая, как бы детская, слегка лысоватая, – единственный из деревни он учился в городе, вернулся в деревню недоучкой с четвертого курса и теперь читал книги не за страх, а за совесть. Он стыдился, что не смог доучиться, даже ночами читал. Смиренно, скромно, сквозь насмешки делился какими-то познаниями, его слушали, но редко.

– Не я же даю медали.

– Как же не ты. А обещаешь.

– Я обещаю, я, значит, так думаю и считаю. Но ведь не даю, – бригадир кашлял и щурил красные от книг глаза.

– То-то обещаешь, а не даешь.

Наталка и Катерина щелкали прошлогодние каленые семечки, и казалось, просидеть за таким разговором час-другой было для них как шелуху семечную сплюнуть. Но вдруг замолчали. Так просто смолкнуть они не могли, а только при очень уж чужом человеке.

Я выглянул и увидел Иван Семеныча Скарятина.

– Воды. Водицы дайте. Пить… Не могу. – Он шумно дышал, выпил воды в этой крайней избе деревни и опять убежал. Человек он был мне любопытный, и я вышел во двор.

– Кто это был? – спросил я, будто не видел из окна, будто от скуки.

– Да Скарятин. Иван Семеныч, – сказали мне.

И ни слова не добавили. Ни Катерина, ни болтливая Наталка Козенкова, ни бригадир. Я взял семечек, присел:

– Чудной он, да? Как ни вижу, все шумит.

– Болтун.

Это, кажется, Катерина про него и сказала. Остальные смолчали. Я слышал, что Скарятин будто бы умен, что имеет жену, но что хозяин он никакой. Дома ему не сиделось или сиделось с трудом. Уезжал, приезжал. Славился шумливостью и тем, что выдумал охоту, ружьецо завел на уток, в этом ему кто-то последовал. До Иван Семеныча в деревне охоты не знали, понятия не имели. Два-три леска и было-то всего в округе, хотя имелся лесник (охранял от вырубки).

Было жарко. Лето только начиналось. Катерина, Наталка и бригадир (они уже условились о завтрашней прополке) затеяли новый долгий разговор о болезнях, кто переболел, кто помер. В начале лета это обычно: заново обговаривалась вся долгая зима, весма, будто всю зиму спали и не виделись. Ну да, тот помер, а те дом хотят строить – неужели сами?

– Да наймут, в крайнем случае. Народу-то шляться будет.

И правда, в середине лета появлялась какая-то оборванная артель, больше просила, меньше делала. Деревня тоже в долгу не оставалась: шабашников располагали на ночь, чтоб поговорить, послушать, посудачить и вызнать, где, что и почем. Но денег было жалко, и с завтречком – до свиданья!..

Считалось, что у Катерины два «жениха». То есть можно было примериваться к ним, говорить о них и знать, что у них нет-нет и поговаривают о Катерине. Но разговоры коротки, а дело держалось на застывшей точке, потому что Катерина могла охотно судачить, но и только.

С шабашников это, кажется, и началось. То есть прошел день, или три, или пять, и как-то в разговоре Наталка сказала Катерине, что шабашники тоже-де мужики и что можно бы одного заманить и тут оставить, а все это была такая рвань и пьянь, и Катерина даже глаза подняла на Наталку: бог с тобой… Или, может, они обе разом взглянули друг на друга и поняли, что пустые разговоры, что пустотой тешились, а время не считали. Что дело-то в самой Катерине. Слушать-то слушаешь, а толку?

– Двадцать лет без мужика. Застоялась, как лошадь, – проговорила Катерина.

И уже к вечеру она вдруг вся переменилась, стала угрюмой. Не суховатой и сдержанной, а угрюмой – а это разные лица. Молчала.

* * *

С утра у нее вырвалось:

– К сестре, к сестричке надо съездить. О господи, хоть на часик съездить…

И тут же еще:

– О господи, что это за жизнь такая!

Но как раз приехал в деревню районный человек и всех взбаламутил. Взбаламутить было легко, не часто езжали. И вот на улице или у воды в поле, то есть у питьевой бочки, заговорили и зашумели (речь шла о прошлом, о деревне прошлого, еще даже до укрупнения). Обсуждали и искренне верили, что в прошлом году до первого места в области, до премий, до похвал и шумихи им не хватило столько-то центнеров зерна и столько-то картошки. Вот только цифры точной никто не знал. И еще плакаты привез районный человек, и плакаты эти висели уже на дверях магазинчика. И даже пареньки, сопляки, покуривали и важно перечитывали, что где-то и кто-то заработал на уборочной мотоцикл в награду за первое место (за столько-то убранных гектаров).

– А за третье место – слышь, Петьк! – велосипед с моторчиком. Плохо разве велосипед с моторчиком?

– Хорошо. Уехать можно.

– Куда хочешь уеду.

– В городе он тарахтящ очень. Виду нет, – и парнишка, отставив ногу и разглядывая плакат, закуривал по новой.

Районный человек, мелкомасштабный и веселый, остался до самого обеда. Бригадир и Катерина показывали ему поле, перебивали друг друга: от нового лица как-то само собой пришло суетливое волнение. Он и обедать остался, прямо среди баб.

– Ну как? В этом году возьмете первое место? – улыбался он.

Бабы галдели. Глаза в деревне почти у всех серые и, предположительно, могли быть хитрые, но нет. Совсем нет. И забегавшийся веселый районный человек понимал, что далеки от них цифры, ссуды, долги государству и планы – чем-то другим держится эта деревенька, которая почти из одних баб, и это другое выглядело для него наивностью. Он бы сказал – глупостью, но нет, не станет он так говорить, зачем, экая радость обидеть словом махонькую деревеньку!

– Кого-то вы тут и на медаль выдвигаете. Слышал, слышал о ней. Надо иметь цель…

И Катерину сунули прямо с миской к нему ближе, и она, красная, разопревшая, сидела и ела рядом. Подошел скоренько председатель с двумя мужиками. Районный человек весело дал им закурить, поговорил еще и уехал.

По улице пошел разговор, судили и обвиняли себя за прошлый год. Недостачу хлеба делили на число дворов, и получалась почти ерунда, одни пацаны, что воробьи, могли бы по колоску натаскать!.. И к вечеру уже в точности было известно, что в прошлом году до этих самых премий и велосипедов с моторчиками не хватило малости самой, чуть ли не полмашины картошки. Председатель Груздев, попросту Груздь, а также счетовод сначала таких говорунов звали дураками, доказывали или недоумевали, но в конце концов тоже запутывались в цифрах и соглашались. Тонна картошки? – пусть тонна. Полтонны? – пусть, лишь бы тешилось, а не плакало.

Катерина думала о сестре, о том, как поедет, как успокоится, а тут опять нагрянул районный человек, может, тот самый, а может, уже другой, но тоже веселый.

– Полтонны всего не хватило?.. В прошлом году? – И он смеялся.

– Больше, что ль? – настороженно и сердито спрашивали старики. Стариков было всего трое в деревне, их звали – деды, и все трое любили гордиться своей памятью.

– Так. Так. Успокойтесь… Вроде бы так, – говорил районный человек, опять чего-то смеялся, и старики кривили рты на его смешливость: глупого прислали… Районный человек уезжал, но прежде очень просил показать ему дорогу. Выяснялось, что он попросту заблудился и попал сюда случайно.

Перед поездкой к сестре Катерина несколько раз трогала фотографию. Простенькую фотографию, где изображена она сама в двадцать лет – она сидит на камне у дороги, что за деревней. Видна дорога и белая пыль. Сидит Катерина естественно, просто, как и сидела, но лицо полунапуганное – сказали, что фотографируют. Бидон с кваском у ее коленей, а дорога неплохо взята за перспективу.

Катерина вынимала фотографию из рамочки, – рамка сколочена из четырех ободранных веток. Лоза ли, береза ли, кору ободрали, сбили мелким гвоздиком и выкрасили в лимонный цвет. Чувствуя, как Катерина вышагивает по избе, как нервно вправляет углы фотографии, – всего-то и дел, что собралась к сестре погостить, – я сказал:

– Красивая была. Ишь ты.

– Да ну уж…

И больше говорить не захотела. Фотография была сделана в сорок пятом, сразу после войны (возвращались солдаты, их ждали – ждала и Катерина). По дороге шли и шли машины, а в одной ехал военный корреспондент восемнадцати лет от роду. С не улегшимся в руках зудом войны паренек бесконечно фотографировал – война кончилась. Торопящийся, быстрый, он щелкнул и Катерину. Пил квас, а затем щелкнул, пообещал прислать и не обманул. На обороте размашистой прописью военного корреспондента была сделана пышная, но, видно, искренняя надпись. Что-то вроде «российской солдатке, российской Пенелопе», которая «ждет и дождется», и по краям фото была как для подарка – кайма аккуратных зубчиков.

– О господи, – и Катерина убрала фотографию, встала. У нее было и дело к сестре, забота, что ли: достать полоскательное для горла.

Обычно она ездила к сестре не торопясь и действительно по делу – оттого и дорогу не следила, мельканье одно, и знай монетки успевай вытаскивать от машины к машине. Да еще с кондукторшей вечный лай из-за сдачи: нет у нее сдачи, видишь ли!.. И еще заранее стерегло смущение: вот увидит сестру, вот опять на кухне на ночь положат, – дело не в раскладушке, которая на кухне, это правильно, как иначе?.. Но засыпая и особенно под утро как-то все больше себя чувствуешь виноватой.

Далеко за деревней, за яром, Катерину подхватил молоденький белобрысый шофер. Он рассказывал о себе и о братане, который служит. Полуторка шла лихо. Шоферок так гордился своей лихостью и скоростью, что Катерина попросила:

– Не гони шибко.

Этот мальчик ответил, что не беда, что он шофер такого то класса и что в том-то и дело, чтоб ездить быстро и людей не давить. Он рассказал про свой спор с шофером-молдаванином (они на бешеной скорости гонялись за курами). Спор был в том, чтоб промчаться над курицей и чтоб курица, трепыхаясь и мчась меж колес, осталась целехонькой. Трудно было ему, и молдаванину тоже трудно было, штук пятнадцать попробовали они, и ни одной не задавили, а ведь известно, что глупее курицы никого нет.

– Ну и наложили же эти куры дерьма там. На всей дороге!

Рассказ мало успокоил Катерину, но она вздохнула и решила терпеть скорость, потому что шофер обещал подвезти до самой автостанции в райцентре. Отсюда и уходили автобусы в город.

Катерина достала билет только на шесть часов (с лишним временем) и заглянула на рынок. Рынок к пяти часам уже почти разобрался, растаял. Но люди были. Мужики привезли на телегах двух забитых коровенок, говядина уже разделана, хребтовинка ровнехонько поруб-

лена, – видно, прибыли маленького рынка (не разошлось мясо)… Окна пивной были распахнуты, кто-то внутри покрикивал, грохотал, двигая кружками из толстого стекла.

Обычно рынок, какой-никакой, доставлял Катерине радость. С детства осталось. Из своих она увидела лишь известную своей трусливостью бабку Жмычиху. С малосольными-то огурцами, может, в первый раз за всю жизнь. К Жмычихе как раз подошел милиционер, поковырялся в ветках укропа и вытянул из ведра огурец, попробовал. Затем спросил разрешение на место продажи.

– Сейчасик, сейчасик, – затряслась глазами бабка и побежала, будто бы поискать. Глупой заплатить бы, как положено, за место, да и весь разговор, но она уже сбежала, уже где-то была далеко и попутную машину спрашивала…

Милиционер стоял и жевал огурец. Он еще не постиг странного бегства Жмычихи и ждал. Ждал, сунул руку в укроп, поплавал там и вытянул из ведра огурец с ярко-желтым носом.

С собой у Катерины были большие деньги – четырнадцать рублей, и ее бросило в страх, когда она увидела четырехрублевую «Куклу Валю». Она ведь и хотела потратиться для сестриной дочки, но нет, нет, виданные ли это деньги… Кукла Валя смеялась, глаза у нее были широкие, и на ноги надевались пластмассовые алые калошки. Нет, нет, Катерина потрогала, надела кукле калошки и ушла. А напротив палатки сидел и смеялся подвыпивший мужик. Он сидел на дорогом алюминиевом ведре и пел глупую песню:

Старушка не спеша побрила малыша,
а малышка вдруг старушку укусил…

Почти со злобой на себя, на бабку Жмычиху, на всю свою деревню Катерина отошла, а затем вдруг вернулась, купила у него блестящий шарик на резинке, затем в палатке – куклу Валю и маленький барабан с двумя палочками.

– Черешня! Последняя! Привозная!

И она купила два кулька черешни (гнильцу выберет по дороге).

– Чертики! Чертики! Отличные чертики!

Чертиков тоже купила. Она будто забылась, что потратила деньги полностью, придержала лишь мелочь на обратную дорогу, и то без запасных двадцати копеек.

Автобус от автостанции отошел битком набитый женщинами. У них были корзины и тазы, обтянутые марлей, – в корзинах и тазах цыплята. Жалобный и мелкий писк был справа, слева, всюду – они купили их в инкубаторе, везли по два-три десятка, обсуждали и смешно называли их «писклятами». Женщины были из пригорода.

Из пригорода, а ведь живая какая жизнь, ведь искали, съездили в райцентр, купили.

– Много ли до осени дотянет? – поинтересовалась Катерина.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.